

**Бернхард Шлинк**

**ЧТЕЦ**

Когда мне было пятнадцать лет, я перенес желтуху. Болезнь началась осенью и кончилась с наступлением весны. Чем холоднее и темнее становился старый год, тем слабее делался я. Только в новом году дело пошло на поправку. Январь был теплым, и моя мать стелила мне на балконе. Я видел небо, солнце, облака и слышал, как играют во дворе дети. Как-то ранним вечером в феврале я услышал пение дрозда.

Мой первый после болезни путь вел меня с Блюменштрассе, где мы жили на третьем этаже массивного, построенного на рубеже веков дома, на Банхофштрассе. Там в один из понедельников в октябре меня вырвало по дороге из школы домой. Уже несколько дней я чувствовал тогда такую слабость, какой не чувствовал еще никогда в жизни. Каждый шаг стоил мне усилий. Когда я поднимался дома или в школе по лестнице, ноги едва несли меня. Есть мне тоже не хотелось. Даже когда я голодный садился за стол, во мне вскоре поднималось отвращение. По утрам я просыпался с пересохшим ртом и с таким чувством, будто мои органы тяжелым и неуместным грузом лежат в моем туловище. Мне было стыдно быть таким слабым. Мне было особенно стыдно, когда меня вырвало. Этого со мной в моей жизни тоже еще никогда не случалось. Мой рот стал наполняться, я попытался сглотнуть, крепко сжал губы, приложил ко рту руку, но все вырвалось у меня изо рта и сквозь пальцы. Потом я прислонился к стене дома, глядел на рвотную массу у моих ног и давился светлой слюзью.

Женщина, принявшаяся помогать мне, делала это почти грубо. Она взяла меня за руку и повела меня через темный подъезд дома во двор. Наверху от окна к окну были натянуты веревки и на них висело белье. Во дворе стояла поленница дров; в мастерской с открытыми дверями визжала пила и летели опилки. Рядом с дверью во двор был кран с водой. Женщина повернула его, обмыла сначала мою руку и затем, собрав в пригоршню ладоней воду, плеснула мне ее в лицо. Я вытер лицо полотенцем.

— Бери-ка другое!

Рядом с краном стояли два ведра, она взяла одно и наполнила его. Я взял и наполнил второе и пошел следом за ней через проход подъезда. Она широко размахнулась, вода с шумом выплеснулась на тротуар и смыла то, что из меня вышло, в канавку стока. Она взяла ведро, которое держал я, и пустила еще один водный поток по тротуару.

Потом она выпрямилась и увидела, что я плачу.

— Парнишка, — сказала она с удивлением, — парнишка...

Она прижала меня к себе. Я был едва выше ее ростом, чувствовал ее грудь на моей груди, чувствовал в тесноте объятия свой плохой запах изо рта и запах ее свежего пота и не знал, что мне делать с моими руками. Я перестал плакать.

Она спросила меня, где я живу, оставила ведра в подъезде и повела меня домой. Она шла рядом со мной, неся в одной руке мой портфель, а другой поддерживая меня за локоть. От Банхофштрассе до Блюменштрассе идти недалеко. Она шла быстро и с решимостью, которая облегчала мне задачу не отставать от нее. Перед нашим домом она попрощалась.

В тот же день моя мать вызвала врача, который поставил диагноз: желтуха. Позже я рассказал ей о той женщине. Не думаю, что я потом когда-нибудь пошел бы к ней по своей воле. Но моя мать считала вполне естественным то, что я, как только буду в состоянии, куплю этой женщине букет цветов, представлюсь ей и поблагодарю ее. Так в конце февраля я пошел на Банхофштрассе.

Того дома на Банхофштрассе сегодня больше нет. Я не знаю, когда и зачем его снесли. Вот уже много лет я не был в своем родном городе. Новый дом, построенный в семидесятых или восьмидесятых годах, имеет пять этажей и большую пристроенную мансарду, он отвергает своей конструкцией эркеры и балконы и покрыт гладко-светлым слоем штукатурки. Множество звонков указывает на наличие в нем множества маленьких компактных квартир. Квартир, в которые люди въезжают и из которых они выезжают так же, как берут напрокат машину и потом оставляют ее. На первом этаже там сейчас компьютерный магазин; до этого там были хозяйственно-косметическая лавка, продуктовый магазин и видеотека.

У старого дома при той же высоте было четыре этажа: первый, сложенный из отшлифованных алмазом силикатных квадров, и над ним три этажа добротной кирпичной кладки с эркерами, балконами и оконными обрамлениями из песчаника. На первый этаж и на лестничную клетку вело несколько ступенек, пошире снизу и поуже кверху, схваченных по обеим сторонам стенами, к которым были прикреплены железные перила и которые закручивались внизу, как панцирь у улитки. По бокам от двери стояли колонны, и с углов эпистилиа на Банхофштрассе взирали два льва: один — налево, другой — направо. Подъезд, через который женщина подвела меня тогда к крану, был боковым.

Уже в раннем детстве я заметил этот дом. Он господствовал над всем рядом построек улицы. Я думал, что если он вдруг еще больше раздастся вширь и прибавит в тяжести, то соседним домам придется сдвинуться в сторону и уступить ему место. Я представлял себе внутри его лестницу, отделанную штукатуркой, украшенную зеркалами и дорожкой с восточным узором, которую держали на ступеньках до блеска отполированные рейки из желтой меди. Я ожидал, что в этом господском доме будут жить такие же люди-господа. Но поскольку дом от времени и от дыма проходящих мимо паровозов стал темным, то я и жильцов-господ представлял себе мрачными, сделавшимися какими-то причудливыми, быть может, глухими или немыми, горбатыми или хромыми.

В более поздние годы я то и дело видел этот дом во сне. Все сны были похожими — вариации одного сна и одной темы. Я иду по незнакомому городу и вижу дом. Он стоит в ряду домов в квартале, которого я не знаю. Я иду дальше, сбитый с толку, потому что знаю дом, но не знаю городского квартала. Потом меня осеняет, что дом-то я уже видел раньше. При этом я думаю не о Банхофштрассе в моем родном городе, а о другом городе или другой стране. Скажем, во сне я иду по Риму, вижу там дом и вспоминаю, что уже видел его в Берне. Это пережитое во сне воспоминание меня успокаивает; снова увидеть дом в другом окружении кажется мне не более странным, чем случайно увидиться снова со старым приятелем в незнакомом месте. Я поворачиваюсь, возвращаюсь обратно к дому и иду по ступенькам наверх. Я хочу войти. Я нажимаю на кнопку звонка.

Если я вижу дом где-нибудь за городом, то тогда сон длится дольше, или же я могу потом лучше вспомнить его подробности. Я еду на машине. По правую руку от себя я вижу дом и еду дальше, сперва только озадаченный тем, что дом, место которому явно на городской улице, вдруг стоит в открытом поле. Потом мне приходит в голову, что я уже видел его, и это вдвойне сбивает меня с толку. Когда я вспоминаю, где я уже его встречал, я поворачиваю и еду обратно. Дорога в моем сне всегда пустынна; визжа шинами, я без помех разворачиваюсь и на большой скорости еду назад. Я боюсь, что опоздаю, и еду быстрее. Потом я вижу его. Он окружен полями — рапсовыми, ржаными или виноградными в Пфальце, лавандовыми — в Провансе. Местность равнинная, иногда слегка холмистая. Деревьев нет. День совсем ясный, светит солнце, воздух подергивается и дорога блестит от жары. Брандмауэры придают дому вид какого-то отрезанного, недовершенного. Это могли бы быть и брандмауэры какого-нибудь другого дома. Дом выглядит не мрачнее, чем на Банхофштрассе. Но окна в нем совсем запыленные и не дают ничего рассмотреть во внутренних помещениях, даже

занавесей. Дом слеп.

Я останавливаюсь на краю дороги и иду через нее к подъезду. Никого не видно, ничего не слышно, ни далекого шума мотора, ни ветра, ни птицы. Мир мертв. Я поднимаюсь по ступенькам вверх и жму на звонок.

Но дверь я не открываю. Я просыпаюсь и знаю только, что положил палец на кнопку звонка и нажал на нее. Потом в моей памяти всплывает весь сон, а также то, что он уже снился мне раньше.

Имени той женщины я не знал. С букетом цветов в руке я нерешительно стоял внизу перед дверью и звонками. Охотнее всего я повернул бы обратно. Но тут из дома вышел мужчина, спросил меня, к кому я хочу, и отослал меня к фрау Шмитц на четвертый этаж.

Ни штукатурной отделки, ни зеркал, ни дорожки. Какой бы неброской, несопоставимой с роскошью фасада красотой лестничная клетка не обладала изначально, сейчас эта красота давно ушла. Красная краска на ступеньках была посередине стерта, тисненый зеленый линолеум, приклеенный рядом с лестницей на стене до уровня плеч, был обшарпан, и там, где у перил не доставало поперечных планок, были накручены веревки. Пахло какими-то моющими средствами. Не исключено, что все это я отметил лишь позднее. Там всегда было одинаково убого и одинаково чисто и всегда стоял один и тот же запах какого-то моющего средства, перемешиваемый иногда запахами капусты или бобов, жареной снеди или кипяченого белья. О других жильцах дома я за все время так и не узнал ничего больше кроме этих запахов, шума вытираемых перед дверями ног и табличек с фамилиями под кнопками звонков. Не помню, чтобы на лестнице я когда-нибудь встретился с одним из жильцов.

Я также уже не помню больше, как я поздоровался с фрау Шмитц. Вероятно, я подготовил две-три фразы о том, как она тогда помогла мне, о том, как я болел, какие-нибудь слова благодарности и произнес их перед ней. Она повела меня на кухню.

Кухня была самым большим помещением в квартире. В ней находились плита и мойка, ванна и ванная колонка, стол и два стула, кухонный шкаф, шкаф для одежды и кушетка. Кушетка была накрыта красным бархатным покрывалом. В кухне не было окон. Свет в нее падал сквозь стекла двери, которая вела на балкон. Полумрака от этого не убавлялось — светло в кухне делалось лишь тогда, когда дверь была открыта. Тогда из столярной мастерской во дворе был слышен пронзительный визг пилы и в кухню доносился запах древесины.

К квартире еще относилась маленькая и тесная комнатка с сервантом, столом, четырьмя стульями, высоким креслом и печкой. Эта комната зимой почти никогда не отапливалась и даже летом ею почти никогда не пользовались. Окно выходило на Банхофштрассе и из него открывался вид на территорию бывшего вокзала, которая была перекопана вдоль и поперек и на которой в нескольких местах уже был заложен фундамент новых судебно-административных зданий. И, наконец, в квартире был еще туалет без окон. Когда воняло в туалете, то воняло и по всему коридору.

Не помню я больше уже и того, о чем мы говорили на кухне. Фрау Шмитц гладила; расстелив на столе шерстяное одеяло и простыню, она доставала из корзины одну за другой какую-нибудь вещь из белья, гладила ее, складывала и клала в стопку на один из двух стульев. На втором сидел я. Она гладила также и свое нижнее белье, и я не хотел на него смотреть, но и не мог смотреть в сторону. На ней был домашний халат без рукавов, голубой, с маленькими, блекло-красными цветочками. Свои пепельные, достигавшие ей до плеч волосы она скрепила на затылке заколкой. Ее оголенные руки были бледными. Их действия, когда она брала утюг, водила им, отставляла его в сторону и потом складывала и перекладывала белье, были медленными и сосредоточенными. И также медленно и сосредоточенно она двигалась, нагибалась и выпрямлялась. На ее тогдашнее лицо в моей памяти наложились ее более поздние лица. Когда я вызываю ее перед своими глазами, такой, какой она была тогда, то она является мне без лица. Мне приходится его восстанавливать. Высокий лоб, высоко посаженные скулы, бледно-голубые глаза, полные, без впадинки, равномерно изогнутые губы, крепкий подбородок. Большое, строгое, женственное лицо. Я знаю, что оно показалось мне красивым. Однако сегодня его красоты я не вижу.

— Подожди, — сказала она, когда я встал и хотел уходить. — Мне тоже надо идти, я пройду с тобой немного.

Я ждал в прихожей. Она переодевалась в кухне. Дверь была слегка приоткрыта. Она сняла халат и стояла в светло-зеленой комбинации. Через спинку стула были переброшены два чулка. Она взяла один и, попеременно работая пальцами, собрала его сверху донизу. Она балансировала на одной ноге, оперлась о ее колено пяткой другой ноги, нагнулась, нацепила собранный чулок на макушку ступни, поставила ее на стул, натянула чулок на икру, колено и ляжку, наклонилась в сторону и закрепила чулок на резинках. Затем она выпрямилась, убрала ногу со стула и повернулась, чтобы взять второй чулок.

Я не мог оторвать от нее глаз. От ее спины и от ее плеч, от ее груди, которую комбинация больше обрамляла, чем скрывала, от ее зада, на котором комбинация натягивалась, когда она упиралась ступней в колено и ставила ее на стул, от ее ноги, сначала голый и бледной и потом, в чулке, отливающей шелковистым блеском.

Она почувствовала мой взгляд. Она задержала руку, вот-вот готовую взять второй чулок, обернулась к двери и посмотрела мне в глаза. Не знаю, как она смотрела — удивленно, вопросительно, понимающе или осуждающе. Я покрылся краской. Какое-то мгновение я стоял с пылающим лицом. Потом я уже не мог больше этого вынести, я выбежал вон из квартиры, слетел вниз по лестнице и выскочил из дома.

Шел я медленно. Банхофштрассе, Хойсерштрассе, Блюменштрассе — не один год это была моя дорога в школу. Я знал там каждый дом, каждый сад и каждый забор — тот, который ежегодно красили новой краской, тот, доски которого стали такими серыми и трухлявыми, что я мог продавить их рукой, железные ограды, вдоль которых я бегал ребенком с палкой, выбивая звон из их прутьев, и высокие кирпичные стены, за которыми, как я фантазировал, должно было скрываться что-то чудесное и ужасное, пока я не сумел вскарабкаться наверх и не увидел одни скучные ряды запущенных цветочных клумб и ягодно-овощных грядок. Мне было хорошо знакомо булыжное и гудронированное покрытие на проезжей части и я знал, где сменяют друг друга на тротуаре плиты, волнообразно уложенные базальтовые катыши, гудрон и гравий.

Мне все было знакомо до мелочей. Когда мое сердце перестало колотиться и мое лицо больше не горело, та встреча между кухней и прихожей была далеко. Я злился на себя. Я убежал, точно ребенок, вместо того, чтобы отреагировать так спокойно-уверенно, как сам того от себя ожидал. Мне ведь было уже не девять лет, а пятнадцать. Правда, для меня оставалось загадкой, как должна была проявиться эта спокойно-уверенная реакция.

Другой загадкой была сама встреча между кухней и прихожей. Почему я не мог отвести взгляда от этой женщины? У нее было очень сильное и очень женственное тело, более пышное, чем у девочек, которые мне нравились и на которых я засматривался. Я был уверен, что она не привлекла бы мое внимание, если бы я увидел ее в бассейне. К тому же она предстала передо мной не более голый, чем девочки и женщины, которых я уже видел в бассейне. И потом она была гораздо старше девочек, о которых я мечтал. Сколько ей было лет? За тридцать? Трудно определить года, которых сам еще не нажил или не замечаешь на своем горизонте.

Много лет позднее я понял, что не мог отвести от нее глаз не из-за ее фигуры, а из-за ее движений и поз. Я не раз просил потом своих подруг одеть чулки, но не желал объяснять им свою просьбу, рассказывать о загадке той встречи между кухней и прихожей. Поэтому моя просьба воспринималась ими как желание увидеть на женском теле подвязки и кружевное нижнее белье и предаться эротической экстравагантности, и когда эта просьба выполнялась, то происходило это в кокетливой позе. Нет, это было не то, от чего я не мог отвернуть тогда своих

глаз. Она не позировала, она не кокетничала. Я также не помню, чтобы она делала это в других случаях. Я помню, что ее тело, ее позы и движения иногда производили впечатление неуклюжести. Не то, чтобы она была такой тяжелой. Скорее, казалось, она уединилась в глубинах своего тела, предоставила его самому себе и его собственному, не нарушаемому никакими приказаниями головы спокойному ритму, и позабыла о внешнем мире. То же забвение окружающего мира было в ее позах и движениях, когда она одевала чулки. Однако тут она не была неуклюжей, а напротив — плавной, грациозной, соблазнительной, и соблазн этот находил свое выражение не в ее груди, бедрах и ногах, а в приглашении забыть внешний мир в глубинах ее тела.

В то время я этого не знал — быть может, не знаю и сейчас, а только сочиняю здесь что-то. Но когда я думал тогда о том, что же меня так возбудило, это возбуждение снова возвращалось. Чтобы отгадать загадку, я вызывал в памяти ту встречу, и расстояние, на которое я удалился, сделал ее для себя загадкой, исчезало. Я снова видел перед собой все и снова не мог оторвать от этой картины своих глаз.

Через неделю я снова стоял перед ее дверью.

На протяжении недели я пытался не думать о ней. Но в тот период не находилось ничего такого, что могло бы меня занять и отвлечь; врач еще не разрешал мне ходить в школу, книги после нескольких месяцев чтения мне надоели, а друзья хоть и заходили, но я был уже так долго болен, что их посещения не могли больше навести мостов между их буднями и моими и становились все короче. Мне рекомендовалось выходить на прогулки, каждый день слегка удлиняя маршрут, и не напрягаться при этом. А напряжение бы мне не повредило.

Каким все-таки заколдованным бывает время болезни в детстве и юношестве! Внешний мир, мир свободного времяпровождения во дворе, в саду или на улице лишь приглушенными звуками достигает комнаты больного. Внутри же нее широко пускает корни мир историй и персонажей из книг, которые читает больной. Температура, ослабляющая чувство восприятия и усиливающая фантазию, превращает комнату в новое, одновременно знакомое и незнакомое помещение; чудовища выставляют в узоре занавесей и рисунке обоев свои рожи, а стулья, столы, полки и шкаф вырастают до размеров гор, зданий или кораблей, одновременно удивительно близких и страшно далеких. Долгими ночными часами больного сопровождают удары часов на церковной башне, гул случайно проезжающих машин и отблески света от их фар, блуждающие по стенам и потолку. Это часы без сна, но не бессонные часы, это не часы какого-то лишения, но часы изобилия. Желания, воспоминания, страхи, вождения создают лабиринты, в которых больной теряется, находится и снова теряется. Это часы, в которые все становится возможным, хорошее и плохое.

Все это ослабевает, когда состояние больного улучшается. Однако если болезнь длилась достаточно долго, то комната оказывается пропитанной пережитыми впечатлениями и выздоравливающий, у которого уже спала температура, все еще не может найти выхода из своих лабиринтов.

Каждое утро я просыпался с плохой совестью, иногда с влажными или выпачканными засохшими пятнами штанами пижамы. Картины и сцены, которые мне снились, не были благочестивыми. Я знал, что моя мать, пастор, который наставлял меня во время конфирмации и к которому я относился с уважением, и моя старшая сестра, которой я доверил тайны своего детства, не бранили бы меня за них напрямую. Но они стали бы увещевать меня в ласковой, озабоченной манере, которая была хуже брани. Особенно неблагочестивым было то, что когда те картины и сцены не являлись ко мне во сне, так сказать, пассивно, тогда я активно вызывал их в своей фантазии.

Не знаю, откуда у меня взялась смелость снова пойти к фрау Шмитц. Может быть, моральное воспитание в известной степени обернулось само против себя? Если похотливый взгляд был таким плохим, как и удовлетворение страсти, а активное фантазирование таким плохим, как и непристойный предмет фантазий — почему бы тогда сразу не взяться за удовлетворение и за непристойный предмет? Изо дня в день я осознавал все больше, что я не в состоянии отбросить эти греховные мысли. И вот мне захотелось совершить и само греховное деяние.

Было у меня тут и еще одно рассуждение. Пусть даже идти к ней было опасно. Но, собственно говоря, вряд ли эта опасность могла принять реальные формы. Скорее всего, фрау Шмитц удивленно поздоровается со мной, выслушает мои извинения за мое странное поведение и по-дружески со мной распрощается. Опаснее же было не идти к ней; тогда я рисковал вообще не избавиться от своих фантазий. То есть, думал я, я сделаю правильно, если пойду к ней. Она будет вести себя нормально, я буду вести себя нормально, и все снова будет нормально.

Так я тогда размышлял, вывел свое вождение в статью необычного морального расчета и заставил замолчать свою совесть. Однако это не придало мне смелости



идти к фрау Шмитц. Придумывать, почему моя мать, уважаемый пастор и моя старшая сестра, взвесь они все хорошенько, должны бы были не удерживать меня от этого поступка, а, наоборот, призывать к нему — это было одно. Идти же к ней на самом деле — было нечто совсем другое. Я не знаю, почему я это сделал. Но сегодня я распознаю в событиях тех дней образец, по которому мои мысли и действия затем на протяжении всей моей жизни находили или не находили друг у друга должный отклик. Я думаю так: если ты пришел к какому-нибудь результату, закрепил этот результат в каком-нибудь решении, то тебе еще предстоит узнать, что практические действия это совсем отдельный пункт — они могут, но не обязательно должны следовать за решением. За свою жизнь я достаточно часто делал то, на что я не решался и не делал того, на что решался. Что-то во мне, чем бы оно там ни было, действует; оно едет к жене, которую я не хочу больше видеть, оно отпускает по отношению к начальнику замечание, которое может поставить крест на всей моей служебной карьере, оно курит дальше, хотя я решил бросить курить, и бросает курить после того, как я смирился с тем, что был и останусь курильщиком. Я не хочу сказать этим, что мысли и решения не влияют на поступки, нет. Однако твои поступки не вытекают просто из того, что ты до этого подумал и что решил. У них есть свой собственный источник и они таким же самостоятельным образом являются твоими поступками, как и твои мысли являются твоими мыслями и твои решения — твоими решениями.

Ее не было дома. Дверь подъезда была приотворена, я поднялся по лестнице, позвонил и стоял в ожидании. Я позвонил еще раз. Внутри квартиры двери были открыты, я видел это сквозь стеклянное окошко входной двери и узнал в прихожей зеркало, гардероб и часы. Я слышал, как они тикали.

Я сел на ступеньки и стал ждать. Я не испытывал облегчения, как это бывает, когда, решившись на что-нибудь, ты мучаешься при этом нехорошими чувствами и боишься последствий и потом радуешься, что осуществил свое решение и последствия тебя не коснулись. Я также не был разочарован. Я твердо решил увидеть ее и ждать до тех пор, пока она не придет.

Часы в прихожей отбили сначала пятнадцать минут, потом полчаса и потом ровно час. Я попробовал следить за их тихим тиканьем и считать вместе с ними те девятьсот секунд, которые лежали в промежутке между их боем, но меня то и дело что-нибудь отвлекало. Во дворе визжала пила столяра, в доме из какой-то квартиры раздавались то голоса, то музыка, слышался шум открываемой двери. Потом я услышал, как кто-то равномерными, медленными, тяжелыми шагами поднимается по лестнице. Мне очень хотелось, чтобы этот кто-то жил на третьем этаже. Если он меня увидит, как мне объяснить ему, что я здесь делаю? Однако стук шагов на третьем этаже не прекратился. Он шел все выше и выше. Я встал.

Это была фрау Шмитц. В одной руке она несла бумажный пакет с брикетным углем, в другой — ящик под брикеты. На ней была форма, китель и юбка, и я увидел, что она была трамвайным кондуктором. Она не замечала меня, пока не достигла лестничной площадки. В ее взгляде не было рассерженности, удивления или насмешки — в нем не было ничего из того, чего я опасался. Ее взгляд был усталым. Когда она поставила уголь и стала искать в кармане кителя ключ, на полу зазвенели монеты. Я подобрал их и подал ей.

— Внизу, в подвале — еще два пакета. Ты не смог бы наполнить их и поднять наверх? Дверь там открыта.

Я помчался вниз по лестнице. Дверь в подвал была открыта, свет был включен и у подножия длинной лестницы, ведущей вниз, я нашел отгороженное досками помещение, дверь которого была лишь слегка прикрыта, а замок висел рядом на незашелкнутой дужке. Помещение было большим и уголь высокой кучей поднимался до самого люка в потолке, через который его засыпали в подвал с улицы. По одну сторону от двери брикеты были аккуратно уложены, по другую стояли пакеты под них.

Не знаю, что я сделал неправильно. Дома я тоже приносил уголь из подвала и у меня никогда не было с этим сложностей. Правда, дома он не лежал такой высокой кучей. Первый пакет я наполнил без проблем. Когда я взял за лямки второй и хотел было подобрать им лежавший на полу уголь, гора пришла в движение. Сверху на меня большими скачками запрыгали маленькие куски и маленькими — большие, ближе к полу все поползло, а на самом полу покатилося и заверещало. Облаком поднялась черная пыль. Испугавшись, я остался стоять на месте, приняв на себя не один удар напиравших кусков и вскоре стоял в угле по щиколотки.

Когда гора утихомирилась, я выбрался из угля, наполнил второй пакет, нашел веник, которым замел обратно куски, выкатившиеся в проход подвала, закрыл дверь и понес оба пакета наверх.

Она сняла китель, ослабила узел галстука, расстегнула верхнюю пуговицу сорочки и сидела со стаканом молока за кухонным столом. Она увидела меня и засмеялась, сначала сдержанно всхлипывая, потом — во весь голос. Она показывала на меня пальцем и другой рукой хлопала по столу.

— Ну и вид у тебя, парнишка, ну и вид!

Потом я сам увидел свое черное лицо в зеркале над мойкой и стал смеяться вместе с ней.

— Так тебе нельзя идти домой. Я сейчас приготовлю тебе ванну и почищу твою одежду.

Она подошла к ванне и открыла кран. Вода, журча и пуская пар, полилась в нее.

— Только снимай свои вещи осторожно, мне не нужна в кухне угольная пыль.

Я помедлил, снял свитер и рубашку и снова стоял в нерешительности. Вода поднималась быстро, и ванна была уже почти полной.

— Ты что, хочешь мыться в брюках и ботинках? Парнишка, я на тебе не смотрю.

Однако, когда я закрыл кран и снял трусы, она преспокойно меня разглядывала. Я покраснел, залез в ванну и с головой погрузился в воду. Когда я вынырнул, она была с моими вещами на балконе. Я слышал, как она стучала один о другой ботинками и вытряхивала брюки и свитер. Она что-то крикнула вниз, через угольную пыль и древесные опилки, снизу ей что-то крикнули в ответ и она рассмеялась. Вернувшись назад в кухню, она положила мои вещи на стул. В мою сторону она бросила лишь беглый взгляд.

— Возьми шампунь и помой голову тоже. Я сейчас принесу полотенце.

Она взяла что-то из платяного шкафа и вышла из кухни.

Я как следует помылся. Вода в ванне была грязной, и я пустил в нее новую воду, чтобы ополоснуть под струей из крана голову и лицо. Потом я просто лежал, слушал, как рокошет колонка подогрева воды, чувствовал на своем лице прохладу воздуха, долетавшую до меня через чуть приоткрытую дверь кухни, а на теле — ласкающее тепло воды. Мне было приятно. Это была возбуждающая приятность, и моя мужская плоть налилась кровью.

Я не поднимал взгляда, когда она вошла в кухню, и сделал это только тогда, когда она уже стояла перед ванной. Она распахнула большое полотенце.

— Иди сюда!

Я повернулся к ней спиной, когда поднимался и вылезал из ванны. Она завернула меня сзади в полотенце, с ног до головы, и насухо вытерла. Затем она отпустила полотенце и оно упало на пол. Я не решался сделать ни единого движения. Она так близко подступила ко мне, что я чувствовал ее грудь на своей спине и ее живот на своих ягодицах. Она тоже была голой. Она обняла меня, положив мне одну руку на грудь, а другую на мою возбужденную плоть.

— Вот зачем ты здесь!

— Я...

Я не знал, что сказать. Я не смел сказать ни «да», ни «нет». Я повернулся к ней. Я мало что мог там у нее увидеть, мы стояли слишком близко друг к другу. Но я был весь потрясен присутствием ее голого тела.

— Какая ты красивая!

— Ах, парнишка, что ты несешь.

Она рассмеялась и обвила мою шею руками. Я тоже обнял ее.

Я боялся: боялся прикосновений, боялся поцелуев, боялся того, что не понравлюсь ей и не покажусь ей достаточно способным. Но после того как мы некоторое время постояли так, держа друг друга в объятиях, после того как я вдохнул ее запах, почувствовал ее тепло и силу, все пошло своим естественным ходом: изучение ее

тела руками и ртом, встреча наших губ и потом она на мне, лицом к лицу, пока я не почувствовал надвижения благодатной волны и не закрыл глаза, пытаясь сначала сдержаться и крича потом так громко, что ей пришлось приглушать мой крик своей ладонью.

Следующей ночью я в нее влюбился. Спал я не глубоко, я страстно желал ее, я видел ее во сне и мне казалось, что я чувствую ее своими руками, пока не замечал, что держу ими подушку или одеяло. От поцелуев у меня болели губы. То и дело моя плоть возбуждалась, но я не хотел удовлетворять сам себя. Я никогда больше не хотел удовлетворять сам себя. Я хотел быть с ней.

Неужели то, что я в нее влюбился, было ценой за то, что она спала со мной? И сегодня, после ночи, проведенной с женщиной, у меня все еще появляется чувство, что меня одарили нежностями и что мне следует их как-то компенсировать — по отношению к ней, моей первой, которую я все еще пытаюсь любить, а также по отношению к миру, которому я отдаю себя на суд.

Среди немногих живых воспоминаний, оставшихся у меня от раннего детства, есть одно, в котором запечатлелась обстановка того зимнего утра, когда мне было четыре года и моя мать одевала меня на кухне. Комната, в которой я тогда спал, не отапливалась, и по ночам и утрам в ней часто бывало очень холодно. Я помню теплую кухню и жаркую плиту — тяжелое, железное приспособление, в котором, оттянув крюком в сторону железные листы и кольца конфорок, можно было видеть огонь и в котором в специальном углублении всегда была теплая вода. К этой плите моя мать подвинула стул, я стоял на нем, а она тем временем мыла и одевала меня. Я помню благодатное чувство тепла и наслаждение, получаемое мною от того, что меня моют и одевают в этом тепле. Я вспоминаю также, что когда бы эта сцена не возвращалась ко мне в моей памяти, я всегда спрашивал себя, почему моя мать обращалась тогда со мной так нежно. Я болел? Может быть, мои брат и сестры получили что-то, чего не получил я? Может быть, дальше в тот день мне предстояло перенести или пережить что-нибудь неприятное, трудное?

И точно так же потому, что женщина, которую я в своих мыслях не мог назвать никаким именем, с такой нежностью отнеслась ко мне накануне, я на следующий день снова пошел в школу. Свою роль тут сыграло и то, что мне хотелось выставить напоказ приобретенную мною мужскую зрелость. Не то, чтобы я хотел этим хвастаться. Просто я чувствовал себя полным силы и превосходства и в блеске этой силы и этого превосходства хотел предстать перед своими одноклассниками и учителями. Помимо того, хоть я и не говорил с ней об этом, но мог себе представить, что ей, как трамвайному кондуктору, нередко приходилось работать до позднего вечера и даже ночи. Разве удалось бы мне видеть ее каждый день, продолжай я сидеть дома и выходи я из него только на предписанные мне щадящие прогулки?

Когда я в тот день под вечер пришел от нее домой, мои родители и брат с сестрами уже сидели за ужином.

— Почему так поздно? Мать волновалась за тебя.

В голосе моего отца было больше раздражения, чем беспокойства.

Я сказал, что заблудился. Я сказал, что хотел прогуляться через братское кладбище к замку Молькенкур, но почему-то долго не мог к нему выйти и в конце концов очутился в Нуслохе.

— У меня не было денег и поэтому я шел из Нуслоха домой пешком.

— Ты бы мог поймать попутку.

Моя младшая сестра иногда ездила автостопом, чего мои родители не одобряли.

Мой старший брат презрительно фыркнул:

— Молькенкур и Нуслох — это же два совершенно разных конца.

Моя старшая сестра, ничего не говоря, изучала меня взглядом.

— Я пойду завтра в школу.

— Тогда на географии держи ухо востро. Мы различаем север и юг, и солнце восходит...

Мать прервала брата:

— Врач сказал — еще три недели.

— Если пешком он может пройти через братское кладбище до Нуслоха и обратно, то вполне может идти и в школу. С силой у него все в порядке, только мозгов не хватает.

В раннем детстве мы с братом постоянно дрались, а позднее сталкивались словесно. Будучи на три года старше меня, он превосходил меня как в одном, так и в другом. Со временем я перестал давать ему сдачи и его боевые выпады стали попадать в пустоту. С тех пор он ограничивался одними придирами.

— Что ты скажешь?

Мать повернулась к отцу. Он положил нож с вилкой на тарелку, откинулся назад и сплел пальцы рук на коленях. Он молчал и задумчиво смотрел перед собой, как это бывало всякий раз, когда моя мать обращалась к нему по поводу детей или домашнего хозяйства. И, как и всякий раз, я задался вопросом, действительно ли он думает над тем, о чем его спросила мать, или о своей работе. Может, он и пытался думать над ее вопросом, но, окунувшись раз в свои раздумья, уже не мог думать ни о чем ином, кроме своей работы. Он был профессором философии, и думать было его жизнью, думать и читать, писать и обучать.

Порой мне казалось, что мы, его семья, были для него чем-то вроде домашних животных. Собака, с которой выходишь погулять, и кошка, с которой играешь, а также кошка, которая сворачивается у тебя на коленях в клубок и мурлычет под твои поглаживания, — кому-то все это очень по душе, кому-то это в определенной степени даже нужно, однако покупка корма, чистка ящика с песком и походы к ветеринару, собственно говоря, в тягость не одному любителю животных. Ведь жизнь идет по другой колее. Мне очень хотелось, чтобы мы, его семья, были его жизнью. Иногда я хотел, чтобы и мой брат-придира и моя дерзкая младшая сестра были другими. Но в тот вечер они вдруг все стали мне ужасно близкими. Младшая сестра. Нелегко, наверное, было быть самой младшей в семье, в которой четверо детей, и, наверное, она не могла завоевать своих позиций без некоторой дерзости. Старший брат. Мы жили с ним в одной комнате, что наверняка мучало его больше, чем меня, и, кроме того, с момента начала моей болезни ему пришлось совсем уйти из нашей комнаты и спать на диване в гостиной. Как ему было после этого не придираться? Мой отец. Почему это мы, его дети, должны были быть его жизнью? Мы росли, выросли и недалеко был тот день, когда мы окончательно уйдем из родного дома.

У меня тогда было такое чувство, будто мы в последний раз сидим сообща за круглым столом под медной пятисвечной люстрой, будто мы в последний раз едим из старых тарелок с зелеными хвостиками узора по краям, будто мы в последний раз говорим друг с другом так близко. В моей душе было ощущение какого-то прощания. Я еще никуда не ушел, но меня уже здесь не было. Я тосковал по матери и отцу и брату с сестрами, и одновременно по той женщине.

Отец посмотрел на меня.

— Значит, ты говоришь, что идешь завтра в школу, да?

— Да.

Выходит, он заметил, что мои слова относились в первую очередь к нему, а не к

матери, и что я не сказал, что подумываю, не пойти ли мне снова в школу.

Он кивнул.

— Что ж, иди. Если будет тяжело, опять останешься дома.

Я был рад. И вместе с тем у меня было такое чувство, будто сейчас наше прощание состоялось.

В следующие дни она работала в первую смену. В двенадцать она приходила домой, а я изо дня в день прогуливал последний урок, чтобы ждать ее на лестничной площадке перед ее дверью. Мы принимали ванну, занимались любовью и ближе к половине второго я поспешно одевался и бежал домой. В пол-второго у нас дома был обед. По воскресеньям у нас садились обедать уже в двенадцать, однако в этот день и ее утренняя смена начиналась и заканчивалась позже.

От мытья я бы вообще отказался. Она педантично следила за своей чистотой, мылась под душем по утрам, и мне нравился запах духов, пота и трамвая, который она приносила с собой с работы. Но мне нравилось также и ее мокрое, гладкое от мыла тело; я с удовольствием давал ей намыливать себя и с удовольствием намыливал ее, и она учила меня делать это не смущенно, а с естественной, подчиняющей себе обстоятельностью. И во время нашей любовной близости она, конечно же, полностью владела мной. Ее губы брали мои губы, ее язык играл с моим языком, она говорила мне, где и как я должен был ее трогать, и когда она скакала на мне, пока не достигала высшей точки своего блаженства, я был для нее лишь объектом, при помощи и посредством которого она удовлетворяла свое желание. Нельзя сказать, чтобы она не была нежной и не доставляла наслаждения и мне. Просто делала она это, забавляясь со мной в свое удовольствие, пока я не наберусь достаточно опыта, чтобы подчинять ее себе.

Это пришло позже. Хотя до конца я этому так никогда и не научился. Да и надо ли мне это тогда было? Я был еще совсем молод, быстро доходил до изнеможения, и когда потом опять начинал потихоньку собираться с силами, то охотно давал ей брать инициативу в свои руки. Я смотрел на нее, когда она была надо мной, на ее живот, на котором повыше пупка проходила глубокая складка, на ее груди, правая из которых была чуть-чуть больше левой, на ее лицо с открытым ртом. Она опиралась руками на мою грудь и в последний момент отрывалась от меня, заводила руки за голову и издавала глухой, всхлипывающий, гортанный стон, который в первый раз напугал меня и которого я впоследствии с нетерпением ждал.

После этого мы лежали в изнеможении. Она часто засыпала на мне. Я слышал шум пилы во дворе и еще более громкие крики столяров, работавших с нею. Когда пила умолкала, в кухню слабо доносился шум движения с Банхофштрассе. Когда я слышал, как на улице начинают перекликаться и играть дети, я знал, что в школе окончились занятия и время перевалило за час. Сосед, приходивший в это время на обед домой, рассыпал на своем балконе корм для птиц и к нему, воркуя, слетались голуби.

— Как тебя зовут? — спросил я ее на шестой или седьмой день.

Она заснула на мне и только-только начинала пробуждаться. До этого я избегал прямого обращения к ней, не употребляя ни «ты», ни «вы».

Она подскочила:

— Что?

— Я спросил, как тебя зовут!

— Зачем тебе?

Она смотрела на меня с настороженностью во взгляде.

— Ну, ты и я... Я знаю твою фамилию, но не знаю твоего имени. Я хотел только узнать твое имя. Что в этом...

Она рассмеялась:



— Ничего, парнишка, ничего в этом такого нет. Меня зовут Ханна.

Она продолжала смеяться, никак не могла остановиться и заразила меня своим смехом.

— Ты так странно смотрела.

— Это я еще не совсем отошла от сна. А тебя как зовут?

Я думал, что она уже это знает. Сейчас как раз было модным носить школьные принадлежности не в портфеле, а под мышкой, и когда я клал все вещи к ней на стол, то там было видно мое имя — на тетрадях и на учебниках, которые я давно научился обертывать плотной бумагой с наклеенной сверху этикеткой, где были написаны мои имя с фамилией и название учебника. Но она не обратила на них внимания.

— Меня зовут Михаэль Берг.

— Михаэль, Михаэль, Михаэль... — она распробовала имя на языке. — Значит, моего парнишку зовут Михаэль, он учится в институте...

— Нет, в школе.

— ...он учится в школе, ему, сколько, семнадцать?

Я был горд тем, что она дала мне на два года больше, и согласно кивнул.

— ...ему семнадцать лет и он хочет, когда вырастет, стать знаменитым...

Она помедлила.

— Я не знаю, кем я хочу стать.

— Но ты же хорошо учишься?

— Ну, так себе.

Я сказал ей, что она для меня важнее учебы и школы и что я очень хотел бы бывать у нее почаще.

— Я все равно останусь на второй год.

— Где ты останешься на второй год?

Она выпрямилась. Это был первый настоящий разговор между нами.

— В младшем отделении седьмого класса. Я слишком много пропустил за последние месяцы, когда болел. Чтобы закончить этот класс, мне надо вкалывать как последнему дураку. Сейчас, например, я должен быть в школе.

Я рассказал ей о том, что прогуливаю уроки.

— Вон отсюда! — Она откинула покрывало. — Вон из моей постели. И не приходи больше, если не возьмешься за учебу. Ты называешь это дурацкой работой? Дурацкой, да? А продавать билеты и дырять их — это, по-твоему, что?

Она поднялась, стояла нагишом в кухне и изображала кондуктора. Левой рукой она открыла маленькую папку с книжечками трамвайных билетов, оторвала большим пальцем, на который был насажен резиновый наперсток, два из них, дернула правой так, что поймала в ладонь щипцы, болтавшиеся у нее на запястье, и щелкнула ими два раза.

— Два раза Рорбах, пожалуйста.

Она отпустила щипцы, вытянула руку, взяла денежную купюру, расстегнула перед

собой сумку с деньгами, сунула туда купюру, защелкнула сумку и извлекла из находящихся снаружи отделений для монет сдачу.

— У кого еще нет билета?

Она взглянула на меня:

— Дурацкая работа? Ты не знаешь, что это такое.

Я сидел на краю кушетки. Меня словно чем-то оглушили.

— Извини. Я возьмусь за учебу. Не знаю, получится ли у меня — через шесть недель учебный год заканчивается. Я все-таки постараюсь. Но у меня ничего не выйдет, если мне нельзя будет больше видеться с тобой. Я...

Сначала я хотел сказать «я люблю тебя», но потом передумал. Может, она была и права, даже наверняка она была права. Но она была не вправе требовать от меня, чтобы я уделял больше времени школе, и делать это условием для наших свиданий.

Часы в прихожей пробили пол-второго.

— Тебе надо уходить.

Она помедлила:

— С завтрашнего дня я работаю в главную смену. В пол-шестого я буду приходить домой, тогда можешь приходить и ты. Если до этого будешь делать то, что тебе надо для школы.

Мы стояли друг напротив друга голые, однако даже в форме она не могла мне показаться более непреклонной. Я не понимал положения вещей. Она волновалась из-за меня? Или из-за себя? Если моя работа идиотская, то ее — и подавно, неужели это ее задело? Но я ведь не сказал, что моя или ее работа идиотская. Или она не хотела иметь своим любовником бездаря? А был ли я ее любовником? Кем я вообще для нее был? Я одевался, нарочно возился со своими вещами и ждал, что она что-нибудь скажет. Но она ничего не говорила. Наконец я полностью оделся, а она все еще стояла голая, и когда я обнял ее, прощаясь, она никак на это не отреагировала.

Почему я испытываю такую грусть, когда думаю о том времени? Что это, тоска по былому счастью? А я был действительно счастлив в те недели, когда работал «как последний дурак» и закончил-таки класс и мы любили друг друга так, как будто все остальное в мире перестало для нас существовать. Или это знание того, что произошло после и что после обнаружилось только то, что уже было раньше?

Почему? Почему, когда мы оглядываемся назад, то вдруг то, что некогда было прекрасным, утрачивает свою силу из-за того, что скрывало тогда ужасную правду? Почему воспоминания о счастливо проведенных супружеских годах омрачаются, когда вдруг выясняется, что один из супругов все эти годы изменял другому? Потому, что в таком положении нельзя быть счастливым? Но ведь счастье-то было! Порой воспоминание уже тогда искажает впечатление о счастье, если конец был горьким. Потому, что счастье только тогда бывает полным, когда оно длится вечно? Потому, что горько может закончиться только то, что было горьким, неосознанным и неопознанным нами? Но что такое неосознанная и неопознанная горечь?

Я вспоминаю ту пору и вижу самого себя перед собой. Я donaшивал элегантные костюмы, которые достались мне от богатого дяди вместе с несколькими парами двухцветных туфель, черно-коричневых, черно-белых, из замши и гладкой кожи. У меня были слишком длинные руки и слишком длинные ноги, что отражалось не на костюмах, которые моя мать откладывала для меня по длине, а на координации моих движений. Я носил дешевые очки ходовой модели и мои волосы метлой торчали в разные стороны, что бы я против этого не делал. В школе я был не в числе первых и не в числе последних; мне кажется, многие учителя меня не очень-то замечали, равно как и мои соученики, задававшие в классе тон. Мне не нравилось то, как я выгляжу, как одеваюсь и двигаюсь, что выделяю и что из себя представляю. Но сколько во мне было энергии, сколько веры в то, что когда-нибудь я буду красивым и умным, стоящим выше других и почитаемым, сколько ожидания, с которым я устремлялся на встречи с новыми людьми и с новыми ситуациями!

Может, это и есть то, что наводит на меня печаль? Этот пыл и эта вера, наполнявшие меня тогда и взявшие с жизни обещание, которое та так и не смогла сдержать? Иногда я вижу в лицах детей и подростков тот же самый пыл и ту же самую веру, и смотрю на них с той же печалью, с которой вспоминаю себя. Не является ли эта печаль абсолютной? Не она ли одолевает нас тогда, когда приятные воспоминания блекнут, потому что счастье, о котором мы вспоминаем, жило не только ситуацией, но и обещанием, которое никогда потом не было сдержано?

Она — мне уже следует начать называть ее Ханной, как я начал делать это тогда — она, однако, жила не обещанием, а ситуацией и только ей одной.

Я расспрашивал ее о ее прошлом и у меня складывалось впечатление, что то, что она мне отвечает, она вытаскивает из старого, пыльного сундука. Она выросла в Трансильвании, в семнадцать лет приехала в Берлин, устроилась рабочей на фабрику «Сименс» и в двадцать один год попала в армию. После войны она перепробовала много разных работ. В профессии кондуктора, которую она имела вот уже несколько лет, ей нравились форменная одежда и движение, смена картин и стук колес под ногами. В остальном же профессия ей не нравилась. У нее не было семьи. Ей было тридцать шесть лет. Все это она рассказывала мне так, как будто это была не ее жизнь, а жизнь другого человека, которого она не очень хорошо знает и который ей безразличен. То, что я хотел знать подробнее, она зачастую не помнила, и не понимала к тому же, почему меня интересуют такие вещи, как то, что стало с ее родителями, есть ли у нее братья и сестры, как ей жилось в Берлине и что она делала в армии. «Ну и любопытный же ты, парнишка!».

То же самое было и с будущим. Конечно, я не строил планов насчет женитьбы и

создания семьи. Но, скажем, связь Жюльена Сореля с мадам де Реналь трогала меня больше, чем его связь с Матильдой де ля Моль. Феликса Круля мне хотелось видеть под конец в объятиях его матери, а не дочери. Моя сестра, изучавшая германистику, поведала как-то за едой о литературном споре на тот счет, имел ли господин фон Гете любовную связь с госпожой фон Штейн, и я к полному изумлению всей семьи стал энергично отстаивать данное предположение.

Я представлял себе, как могли бы выглядеть наши отношения через пять или десять лет. Я спрашивал Ханну, как она себе это представляет. Но ей не хотелось думать наперед даже до пасхи, когда я на каникулах планировал совершить с ней велосипедную прогулку за город. Выдавая себя за мать и сына, мы могли бы взять где-нибудь на двоих комнату и провести вместе целую ночь.

Странно, что я не испытывал неловкости, представляя себе такую возможность и предлагая ее Ханне. Находясь я в дороге со своей матерью, я бы до последнего настаивал на отдельной комнате. Я считал, что уже вышел из того возраста, когда мать должна сопровождать тебя к врачу, в магазин за покупкой нового пальто или встречать тебя на вокзале. Когда моя мать шла со мной куда-нибудь и по дороге нам встречались мои школьные товарищи, я боялся, что меня примут за маменькиного сыночка. Однако выйти на улицу с Ханной, которая хоть и была на десять лет моложе моей матери, но сама вполне подходила для этой роли, отнюдь не представлялось мне зазорным. Наоборот, это наполняло меня гордостью.

Когда я вижу сегодня тридцатишестилетнюю женщину, я считаю ее молодой. Но когда я вижу сегодня пятнадцатилетнего подростка, то я вижу перед собой ребенка. Я удивляюсь, сколько уверенности придала мне Ханна. Мой успех в школе заставил учителей приглядеться ко мне повнимательнее и заручил меня гарантией их уважительного отношения ко мне. Девочки, с которыми я сталкивался, заметили, что я не сторонюсь их, и это им импонировало. Я хорошо чувствовал себя в своем теле.

В моей памяти, четко запечатлевшей и ярко освещающей наши первые встречи с Ханной, последующие недели, прошедшие между тем нашим разговором и концом учебного года, следуют расплывчатой, неразделимой чередой. Одна причина тут заключается в частоте наших встреч и интенсивности их протекания, другая — в том, что до этого у меня никогда еще не было таких наполненных дней и моя жизнь никогда еще не шла в таком быстром и плотном ритме. Когда я вспоминаю свою учебу в те недели, то не могу отделаться от впечатления, что я просто сел тогда за письменный стол и так и остался сидеть за ним до тех пор, пока не наверстал все то, что было пропущено мною за время желтухи, пока я не выучил все слова, не прочел все тексты, не осуществил все математические доказательства и не соединил друг с другом все химические формулы. О Веймарской республике и Третьем рейхе я успел прочитать, еще лежа больным в постели. Точно так же и сами наши встречи вспоминаются мне как одна единственная долгая встреча. После того разговора они всегда проходили во второй половине дня: когда Ханна работала в вечернюю смену — с трех до половины пятого, в других случаях — в пол-шестого. В семь в нашей семье садились ужинать и Ханна поначалу подгоняла меня, чтобы я ненароком не опоздал домой. Но через некоторое время рамки полуторачасового лимита были раздвинуты и я начал придумывать всякие отговорки и пропускать ужин.

Виной тому было чтение вслух. На следующий день после нашего памятного разговора Ханна спросила меня, что мы проходим в школе. Я рассказал ей об эпосах Гомера, речах Цицерона и истории о старике и его схватке с рыбой и морем, написанной Хемингуэем. Ей захотелось послушать, как звучат греческий и латинский языки, и я прочитал ей несколько мест из Одиссеи и из речей Цицерона против Катилины.

— А немецкий ты тоже учишь?

— То есть как — немецкий?

— Я имею в виду, учишь ли ты только иностранные языки или в своем собственном языке тоже есть еще что поучить?

— Мы читаем разные произведения.

Когда я болел, наш класс читал «Эмилию Галотти» и «Коварство и любовь». Скоро нам предстояло писать сочинение по этим пьесам и, следовательно, я должен был прочесть оба произведения, что я и делал после того, как заканчивал все остальные задания. Но было это уже, как правило, в позднем часу, я плохо соображал от усталости и на следующий день уже не помнил того, что прочитал, и мне приходилось браться за чтение заново.

— Почитай-ка мне!

— Читай сама, я принесу тебе эти книги.

— У тебя такой приятный голос, парнишка, мне больше нравится слушать тебя, чем читать самой.

— Ну, не знаю...

Но когда я пришел на следующий день и хотел поцеловать ее, она отстранилась.

— Нет, почитай мне сначала.

Она не шутила. Мне пришлось полчаса читать ей вслух «Эмилию Галотти», прежде чем она пустила меня в ванну и потом к себе в постель. Теперь я был рад мытью в ванне. Желание, с которым я пришел к ней, за время чтения как-то само собой улетучилось. Прочитать пьесу так, чтобы суметь мало-мальски выделить разные действующие лица и вдохнуть в них жизнь, требует от тебя определенной концентрации. В ванне желание снова возвращалось. Читать вслух, мыться в ванне, заниматься любовью и потом еще лежать немного рядом — это стало ритуалом наших встреч.

Она была внимательным слушателем. Ее смех, ее пренебрежительное фырканье и ее возмущенные или одобрительные возгласы свидетельствовали о том, что она увлеченно следила за сюжетом пьесы и считала как Эмилию, так и Луизу глупыми девицами. Нетерпение, с которым она иногда просила меня читать дальше, исходило из ее надежды, что глупости в конце концов должен быть какой-то предел: «Нет, ты посмотри только, этого не может быть!» Иногда мне и самому хотелось читать, не останавливаясь. Когда дни стали длиннее, я читал дольше, чтобы оставаться с нею в постели до наступления сумерек. Когда она засыпала на мне, во дворе замолкала пила, начинал петь дрозд и предметы в кухне приобретали одну только полуяркую-полутемную серую окраску, тогда я был вне себя от счастья.

В первый день пасхальных каникул я встал в четыре часа утра. Ханна работала в первую смену. В четверть пятого она выезжала на велосипеде в трамвайный парк и в пол-пятого ехала в трамвае на Шветцинген. По дороге туда, сказала она мне, трамвай часто бывает пустым, только на обратном пути он заполняется пассажирами.

Я сел в трамвай на второй остановке. Второй вагон пустовал, в первом рядом с вагоновожатым стояла Ханна. Я не решался, в какой вагон мне войти, в первый или второй, и выбрал второй. Он обещал некоторую интимность, объятие, поцелуй. Но Ханна не подошла ко мне. Она не могла не видеть, что я ждал на остановке и сел в трамвай. Поэтому он ведь и остановился. Но она не отходила от вагоновожатого, болтала и шутила с ним. Я видел это.

Трамвай проезжал одну остановку за другой. Никто не стоял на них и не ждал. Улицы были пустыми. Солнце еще не взошло и под белым небом все лежало в бледном свете: дома, припаркованные машины, покрывающиеся зеленью деревья и цветущие кусты, шар газового котла и горы вдаль. Трамвай ехал медленно; по всей вероятности, расписание его движения было составлено с учетом времени нахождения в пути и задержки у каждой остановки и теперь езду надо было растягивать, потому что остановки выпадали из графика. Я был заперт в медленно едущем трамвае. Сначала я сидел, потом перешел на переднюю платформу и попытался зафиксировать Ханну взглядом; она должна была почувствовать мой взгляд на своей спине. Через какое-то время она повернулась и пристально посмотрела на меня, после чего снова принялась разговаривать с вагоновожатым. Поездка продолжалась. За Эппельгеймом трамвайные пути были проложены не на проезжей части дороги, а рядом с ней на насыпи из щебня. Трамвай ехал теперь быстрее, равномерно постукивая колесами, точно поезд. Я знал, что эта линия ведет через несколько пригородных местечек и заканчивается в Шветцингене. Но я чувствовал себя исключенным, изогнанным из нормального мира, в котором люди живут, работают и любят. Я был словно обречен на бесцельную и бесконечную езду в пустом вагоне.

Вскоре я увидел остановку — маленькое строение-навес в открытом поле. Я дернул за лямку, с помощью которой кондукторы подают вагоновожатому сигнал остановки или дальнейшего движения. Трамвай остановился. Ни Ханна, ни ее собеседник не обернулись на мой звонок. Когда я выходил, у меня было такое впечатление, что они провожают меня глазами и смеются. Но с точностью я этого утверждать не мог. Потом трамвай тронулся и я смотрел ему вслед, пока он не скрылся сначала в ложбине и потом за холмом. Я стоял между насыпью и дорогой, кругом были поля, фруктовые деревья и дальше впереди огородное хозяйство с теплицами. Воздух был наполнен свежестью и щебетом птиц. Белое небо окрашивалось над горами в розовый цвет.

Поездка в трамвае была для меня чем-то вроде кошмарного сна. Если бы ее последствия не сохранились в моей памяти с такой отчетливостью, то я бы до сих пор был склонен считать ее кошмаром. Когда я стоял на остановке, слышал, как поют птицы и видел, как восходит солнце, это было для меня похоже на пробуждение. Но пробуждение от кошмара не обязательно приносит облегчение. Как раз-таки оно может по-настоящему заставить тебя осознать, какая жуть тебе приснилась, быть может, даже то, с какой ужасной правдой ты столкнулся во сне. Я отправился домой, из моих глаз текли слезы и только когда я дошел до Эппельгейма, я перестал плакать.

Всю дорогу домой я шел пешком. Пару раз я безуспешно пытался остановить какую-нибудь машину. Когда я проделал примерно половину пути, трамвай обогнал меня. В нем было много людей. Ханна я не видел.

Я ждал ее в двенадцать на лестничной площадке перед ее квартирой, опечаленный, напуганный и злой.

— Что, опять прогуливаешь?

— У меня каникулы. Что с тобой сегодня утром было?

Она отперла дверь и я последовал за ней в квартиру и в кухню.

— А что со мной сегодня утром было?

— Почему ты сделала такой вид, как будто не знаешь меня? Я хотел...

— Я сделала вид, будто не знаю тебя?

Она повернулась и холодно посмотрела мне в лицо.

— Это ты вел себя так, как будто не знаешь меня. Садись во второй вагон, когда видишь, что я в первом.

— Скажи-ка, почему это я еду в первый день своих каникул в пол-пятого утра в Шветцинген? Только потому, что я хотел преподнести тебе сюрприз, потому, что я думал, что ты будешь мне рада. А во второй вагон я...

— Ах ты, бедняжка. Был уже в пол-пятого на ногах и это — на своих каникулах!

Я никогда еще не слышал иронических ноток в ее голосе. Она покачала головой.

— Откуда мне знать, почему ты едешь в Шветцинген. Откуда мне знать, почему ты не хочешь показывать, что знаком со мной. Это твое дело, не мое. А сейчас — давай уходи.

Не могу описать, насколько я был возмущен.

— Это нечестно, Ханна. Ты знала, ты должна была знать, что я еду в этом трамвае только ради тебя. Как ты можешь думать, что я не хотел подавать вида, что знаю тебя? Если бы я не хотел тебя знать, я бы вообще не сел в трамвай.

— Все, хватит. Я уже сказала: твои дела меня не касаются.

Она встала так, что между нами находился кухонный стол; своим взглядом, своим голосом и своими жестами она давала мне понять, что относится ко мне, как к незваному гостю, и требует покинуть ее квартиру.

Я присел на кушетку. Она до обидного задела меня своим поведением и я хотел потребовать от нее объяснений. Однако я никак не мог подступить к ней. Вместо этого она обрушила на меня свой выпад. И я начал чувствовать себя неуверенно. Может быть, она была права, не объективно, а субъективно? Могло ли быть так, что она поняла меня неправильно? Или ей пришлось понять меня неправильно? Неужели я обидел ее, нечаянно и всякому умыслу вопреки, но все-таки обидел?

— Извини, Ханна. Как-то плохо все получилось. Я не хотел тебя обидеть, но мне кажется...

— Кажется? Ты хочешь сказать, тебе кажется, что ты меня обидел? Ты не можешь меня обидеть, уж только не ты. Когда ты, наконец, уйдешь? Я пришла с работы, я хочу в ванну, я хочу, чтобы меня оставили в покое.

Она требовательно смотрела на меня. Когда я остался сидеть, она пожала плечами, повернулась, пустила в ванну воду и стала раздеваться.

Теперь я поднялся и вышел из квартиры. Я думал, что уйду навсегда. Но через полчаса я снова стоял перед ее дверью. Она впустила меня, и я безоговорочно принял все на себя. Да, я поступил бездумно, бесцеремонно, бессердечно. Да, я понял, что она была обижена. Да, я понял, что она не была обижена, потому что я не мог ее обидеть. Да, я понял, что не мог обидеть ее, что она просто не могла позволить себе терпеть мое поведение. В конце концов я был счастлив, когда она

призналась, что я сделал ей больно. Значит, она все-таки не была такой неприступной и безучастной, какой показывала себя.

— Ты простишь меня?

Она кивнула.

— Ты любишь меня?

Она снова кивнула.

— Ванна еще полная. Идем, я тебя помою.

Позднее я спрашивал себя, не оставила ли она воду в ванне нарочно потому, что знала, что я скоро вернусь. Не разделась ли она также потому, что знала, что это не выйдет у меня из головы и приведет меня обратно. Была ли это только игра в расстановку сил, которую она хотела у меня выиграть, или что-то другое. После того как мы закончили наш любовный акт, лежали рядом друг с другом и я рассказал ей, почему я сел вместо первого вагона во второй, она поддразнила меня: «Даже в трамвае тебе хочется этим со мной заняться? Ну, ты даешь, парнишка!» И получалось так, что повод для нашего спора был, собственно говоря, совсем ничтожным.

Однако его результат имел для меня значение. Я потерпел поражение не только в этом споре. Я капитулировал после короткой стычки, когда она пригрозила мне тем, что готова отвергнуть меня, порвать наши отношения. В последующие недели я больше не устраивал с ней даже коротких стычек. Когда она грозила мне, я тут же безоговорочно капитулировал. Я все брал на себя. Я признавал за собой ошибки, которых не совершал, сознавался в намерениях, которых никогда не имел. Когда она делалась холодной и черствой, я упрашивал ее снова сжалиться надо мной, простить меня, любить меня. Иногда у меня появлялось такое чувство, что она сама страдает из-за своей холодности и черствости, что она стремится к теплу моих извинений, заверений и заклинаний. Иногда я думал, что ей просто нравится испытывать чувство триумфа. Но, так или иначе, у меня не было никакого выбора.

Я не мог говорить с ней на эту тему. Разговоры о наших спорах вели к очередному спору. Пару раз я написал ей длинные письма. Но она не ответила на них, и когда я спросил ее об этом, она спросила в ответ: «Ты что, опять начинаешь?»



Сказать, что после того первого дня моих каникул мы не были больше счастливы, не соответствовало бы истине. Мы никогда не были так счастливы, как в те апрельские недели. Каким бы затаенным не был тот первый спор и, вообще, все остальные наши споры — все, что открывал нам наш ритуал чтения, мытья в ванне, любовной игры и лежания рядом друг с другом в постели, все это действовало на нас самым благодатным образом. Помимо того, она связала себя тем своим упреком, что я не хотел тогда знать ее. Если я хотел показаться с ней где-нибудь, то она не могла предъявить мне принципиальных возражений. «Значит, ты все-таки не хотела, чтобы нас кто-нибудь видел» — выслушивать такое ей было явно не по душе. И так на пасхальной неделе мы отправились с ней на велосипедах в небольшое путешествие: четыре дня по маршруту Вимпфен-Аморбах-Мильтенберг.

Не помню больше, что я сказал своим родителям. Что я еду со своим другом Маттиасом? С группой друзей? Что хочу навестить одного своего бывшего одноклассника? Скорее всего, моя мать, как всегда, стала волноваться за меня, а мой отец, как всегда, считал, что ей не следует волноваться. Разве я не перешел только что из одного класса в другой, чего от меня никто не ожидал?

Пока я болел, я не расходовал своих карманных денег. Но имевшейся в моем распоряжении суммы было недостаточно, если я собирался платить и за Ханну. Тогда я решил продать свою коллекцию марок в филателистическом магазине рядом с церковью Святого Духа. Это был единственный магазин, вывеска на дверях которого возвещала о скупке целых коллекций. Продавец просмотрел мои альбомы и предложил мне шестьдесят марок. Я указал ему на гордость моей коллекции — прямостороннюю египетскую марку с изображением пирамиды, которая по каталогу оценивалась в четыреста марок. Он пожал плечами и сказал, что если я так дорожу своей коллекцией, то тогда мне, наверное, лучше оставить ее при себе. Можно ли мне вообще было ее продавать? Что скажут на это мои родители? Я попробовал немного поторговаться. Если марка с пирамидой не такая уж ценная, то я просто оставлю ее себе. Тогда он мог бы дать мне за коллекцию только тридцать марок. Ага, значит, марка с пирамидой все-таки чего-то стоит? В конце концов я получил от него семьдесят марок. Я чувствовал, что меня надули, но мне тогда было все равно.

Не только я испытывал волнение перед поездкой. К моему удивлению, Ханна уже за несколько дней до нее тоже стала проявлять признаки беспокойства. Она со всех сторон обдумывала, что ей взять с собой в дорогу, и то так, то этак упаковывала под сумки и рюкзак, которые я принес для нее. Когда я хотел показать ей на карте наш маршрут, каким я его задумал, она не хотела ничего слышать и видеть. «Я сейчас слишком взволнована. Ты сам знаешь, что там к чему, парнишка.»

Мы выехали на второй день пасхи. Светило солнце, и оно продолжало светить все четыре дня. По утрам было свежо, а днем тепло, не слишком тепло для езды на велосипеде, но достаточно тепло для пикников. Леса лежали кругом зелеными коврами, с желто-зелеными, светло-зелеными, бутылочно-зелеными, сине- и черно-зелеными вкраплениями, пятнами и полосами. На Рейнской равнине уже цвели первые фруктовые деревья. В Оденвальде только-только начинали распускаться розы-форсайты.

Часто мы имели возможность ехать рядом друг с другом. Тогда мы показывали друг другу, что мы видели: замок, рыбака, корабль на реке, палатку, семью, идущую гуськом вдоль берега, американский «джип» с открытым верхом. Когда мы меняли направление и выезжали на другую улицу или дорогу, то я должен был ехать впереди, Ханне не было дела до направлений и дорог. А так, если движение было слишком сильным, то она ехала за мной, то я за ней. У нее был велосипед с закрытыми спицами и закрытой цепью, и на ней было синее платье, полы которого развевались по ветру. Мне потребовалось некоторое время, чтобы отделаться от опасения, что ее платье попадет в спицы или под цепь и она упадет. Мне нравилось

смотреть на нее, когда она ехала впереди.

А как я радовался предстоящим ночам! Я представлял себе, что мы будем заниматься любовью, потом заснем, потом проснемся и снова займемся любовью, снова заснем, снова проснемся и так далее, ночь за ночью. Однако только в первую ночь я еще раз проснулся. Ханна лежала спиной ко мне, я склонился над ней и поцеловал ее, и она повернулась на спину, приняла меня в себя и сжимала меня в своих объятиях. «Парнишка ты мой, парнишка...». Потом я заснул на ней. Остальные ночи мы спали напролет, уставшие от езды, от солнца и ветра. Любовью мы занимались утром.

Ханна предоставляла мне не только выбор направлений и улиц. Я выискивал гостиницы, в которых мы останавливались на ночь, заносил нас в бланк регистрации как мать и сына, а она только подписывала его, и когда мы ели там, то я выбирал в меню еду не только для себя, но и для нее. «Хорошо вот так, хоть раз ни о чем не беспокоиться» — говорила она.

Единственный спор возник у нас в Аморбахе. Я проснулся рано, тихонько оделся и так же тихонько выскользнул из комнаты. Я хотел принести ей наверх завтрак и посмотреть, не удастся ли мне уже в это время найти открытый цветочный магазин, чтобы купить в нем розу для Ханны. Я оставил ей на тумбочке записку: «Доброе утро! Я пошел за завтраком. Сейчас буду.» — или что-то в этом роде. Когда я вернулся, она стояла в комнате, наполовину одетая, дрожащая от гнева и вся побелевшая.

— Как ты мог просто так уйти!

Я поставил поднос с завтраком и розой на стол и хотел обнять ее.

— Ханна...

— Не прикасайся ко мне!

У нее в руке был узкий кожаный пояс, которым она охватывала свое платье, она сделала шаг назад и стегнула меня им по лицу. Моя верхняя губа треснула и я почувствовал привкус крови. Мне не было больно. Я страшно напугался. Она еще раз замахнулась.

Но второй раз она не ударила. Она опустила руку, выронила пояс и заплакала. Я еще никогда не видел ее плачущей. Ее лицо потеряло всякую форму. Широко раскрытые глаза, широко раскрытый рот, веки, вспухшие после первых слез, красные пятна на щеках и шее. Из ее горла вырывались хриплые, гортанные звуки, похожие на ее глухие выкрики во время наших любовных встреч. Она стояла посреди комнаты и смотрела на меня сквозь слезы.

Мне надо было обнять ее. Но я не мог. Я не знал, что делать. У нас дома так не плакали. Равно как и не поднимали друг на друга руки, а уж за ремень не брались и подавно. У нас просто говорили. Но что я должен был ей говорить?

Она подошла ко мне, бросилась мне на грудь, стала бить по мне кулаками, цепляться за меня. Теперь я мог держать ее. Ее плечи дрожали, она билась лбом о мою грудь. Потом она глубоко вздохнула и затихла в моих руках.

— Будем завтракать?

Она оторвалась от меня.

— О боже, парнишка, какой у тебя вид!

Она принесла мокрое полотенце и вытерла им мой рот и подбородок.

— И рубашка вся в крови.

Она сняла с меня рубашку, потом штаны и потом разделась сама и мы стали любить друг друга.

— Что с тобой стряслось? Почему ты так рассердилась?

Мы лежали друг подле друга, такие удовлетворенные и умиротворенные, что я думал, сейчас-то все и прояснится.

— Что стряслось, что стряслось... Ну и глупые вопросы ты всегда задаешь. Ты не можешь просто так взять и уйти.

— Но моя записка... Я же оставил тебе...

— Записка?

Я поднялся и сел на край кровати. Там, где я положил на тумбочку записку, ее сейчас не было. Я встал и начал искать рядом с тумбочкой и под ней, под кроватью, в кровати. Я не нашел своей записки.

— Не понимаю. Я написал тебе записку, что пошел за завтраком и сейчас вернусь.

— В самом деле? Я ее не вижу.

— Ты мне не веришь?

— Мне очень хочется тебе верить. Но я не вижу никакой записки.

Больше мы не спорили. Может, это просто порыв ветра поднял записку и унес ее куда-нибудь в никуда? И все это было сплошным недоразумением — ее гнев, моя треснувшая губа, ее искаженное лицо, моя беспомощность?

Надо ли мне было дальше искать эту записку, причину гнева Ханны, причину моей беспомощности?

— Почитай мне что-нибудь, парнишка!

Она прильнула ко мне, я взял книгу «Из жизни одного бездельника» Эйхендорфа и начал читать с того места, где закончил в прошлый раз. «Бездельник» читался легко, легче, чем «Эмилия Галотти» и «Коварство и любовь». Ханна снова слушала со сосредоточенным вниманием. Ей нравилась полупрозаическая-полустихотворная форма повествования. Ей нравились переодевания, недоразумения, осложнения и преследования как водоворот действия, в который герой попадает в Италии. Одновременно она расстраивалась из-за того, что он бездельник, ничего не дает людям, ничего не может и ничему не хочет учиться. Она была вся охвачена противоречивыми чувствами и могла даже через несколько часов, после того как я закончил читать, еще задать мне какой-нибудь вопрос типа: «Взиматель таможенных сборов — разве это была плохая профессия?»

Снова рассказ о нашем конфликте получился таким подробным, что мне хочется сказать теперь пару слов и о нашем счастье. Тот спор сделал наши отношения более искренними. Я видел, как она плачет; Ханна, которая могла плакать, была мне ближе, чем Ханна, которая была только сильной. Она начала показывать мне свою кроткую сторону, которой я еще в ней не знал. Она то и дело рассматривала потом мою треснувшую губу и нежно притрагивалась к ней, пока та не зажила.

Мы любили теперь друг друга иначе. Долгое время в постели я полностью отдавал себя на ее волю, давал целиком подчинить ей себя. Потом и я научился подчинять ее себе. Во время и после нашей поездки мы больше не занимались только тем, что подчиняли себе друг друга.

У меня сохранилось стихотворение, которое я сочинил тогда. Как стихотворение оно ничего не стоит. В то время я восторгался Рильке и Бенном, и вижу сейчас, что хотел подражать им обоим одновременно. Но я также вижу снова, как близки мы были тогда друг другу. Вот это стихотворение:

Когда мы раскрываемся

Ты мне вся и я весь тебе,

Когда мы погружаемся

В меня вся ты и я в тебя весь,

Когда мы прекращаемся

Ты вся во мне и весь в тебе я.

Тогда

Я — это я

И ты — это ты.

В то время как у меня не сохранилось никаких воспоминаний о том, какую ложь я преподнес своим родителям относительно своей поездки с Ханной, я хорошо помню цену, которую мне пришлось заплатить за то, чтобы остаться на последней неделе каникул одному дома. Я уже не помню, куда уехали тогда мои родители и старшая сестра с братом. Проблема заключалась в моей младшей сестре. Она должна была остаться на время этой недели в семье своей подруги. Но если оставался дома я, то и она хотела оставаться дома. Этого, в свою очередь, не хотели мои родители. Поэтому мне тоже следовало пожить пока в семье одного из моих приятелей.

Оглядываясь сегодня назад, я нахожу поразительным, что мои родители согласны были оставить меня, пятнадцатилетнего подростка, на целую неделю одного дома. Что на них так повлияло? Моя самостоятельность, выросшая во мне благодаря встрече с Ханной? Или они просто отметили, что, несмотря на месяцы болезни, я все-таки сумел закончить класс и заключили из этого, что я был более сознательным и достойным доверия, чем можно было судить обо мне раньше? Я не помню также, чтобы меня привлекли когда-либо к ответу за те долгие часы, которые я проводил у Ханны. Видимо, родители верили моим рассказам о том, что я, наконец-то выздоровев, хотел больше бывать со своими друзьями, учить с ними уроки и проводить вместе свободное время. Помимо того, четверо детей в семье — это целая орава, при которой внимание родителей не может быть уделено в равной мере всем, а сосредотачивается на том, кто в данное время представляет собой наибольшую проблему. Я достаточно долго был такой проблемой; теперь у моих родителей отлегло от сердца и они были рады тому, что я выздоровел и перешел в следующий класс.

Когда я спросил у своей младшей сестры, что она хочет от меня иметь, если согласится пожить у своей подруги, пока я буду дома один, она потребовала от меня джинсы (тогда мы говорили «синьки») и «никки» — бархатный летний пуловер. Это я мог понять. Джинсы тогда были в большой моде, расценивались как нечто особенное и к тому же символизировали собой освобождение от костюмов «в елочку» и платьев «в цветочек». Точно так же, как мне приходилось донашивать вещи моего дяди, моя младшая сестра вынуждена была донашивать вещи старшей сестры. Но мне было не на что их купить.

— Тогда укради их!

Взгляд моей младшей сестры выражал полное равнодушие.

Это оказалось на удивление простым делом. Я примерил разные джинсы, прихватил с собой в примерочную кабину также одну пару ее размера и вынес ее потом из магазина на животе под поясом своих широких брюк. Пуловер я стащил в универмаге. Мы с сестрой выбрали один день и прогулялись в отделе мод от прилавка к прилавку, пока не нашли нужный прилавок и нужный пуловер. На следующий день я поспешным, решительным шагом прошел по отделу, схватил присмотренный пуловер, спрятал его под курткой и был таков. Еще днем позже я украл для Ханны шелковую ночную рубашку, был замечен детективом универмага, бросился бежать, не чувствуя под собой ног, и мне едва удалось скрыться от него. В том универмаге я не показывался потом несколько лет.

После наших ночей, проведенных вместе во время велосипедной поездки, меня каждую ночь одолевало страстное желание чувствовать Ханну рядом с собой, прижиматься к ней, вплотную придвигаться животом к ее заду и грудью к ее спине, класть ладонь на ее грудь, просыпаясь ночью, искать и находить ее рукой, укладывать ногу поверх ее ног и прижиматься лицом к ее плечу. Неделя одному дома означала для меня семь ночей с Ханной.

В один из вечеров я пригласил ее к себе и специально приготовил по этому поводу ужин. Она стояла в кухне, когда я накладывал на нашу трапезу «последний

штрих». Она стояла в проеме открытой двустворчатой двери между столовой и гостиной, когда я выносил еду из кухни. Потом она сидела за круглым обеденным столом, на том месте, где обычно сидел мой отец. Она осматривалась.

Она ощупывала своим взглядом все, что находилось вокруг нее: мебель в стиле бидермейер, рояль, высокие старинные часы, картины, полки с книгами, посуду и приборы на столе. Когда я оставил ее одну, чтобы приготовить десерт, и вернулся потом назад, я не обнаружил ее за столом. Она ходила из комнаты в комнату и задержалась в кабинете моего отца. Я тихонько прислонился к дверному косяку и наблюдал за ней. Ее взгляд блуждал по полкам с книгами, заполнявшим стены, словно она что-то читала. Потом она подошла к одной полке, медленно провела указательным пальцем правой руки по корешкам книг, подошла к следующей полке, опять стала вести пальцем по книгам, корешок за корешком, и обошла так всю комнату. У окна она остановилась, смотрела в темноту, на отображение полок с книгами и на свое собственное отражение.

Это одна из картин с Ханной, отложившихся в моей памяти. Я их все четко запечатлел, могу спроецировать их на свой внутренний экран и рассматривать их на нем — безо всяких изменений, все время как новые. Бывает, я на долгое время о них забываю. Но они снова и снова встают передо мной в моей памяти и тогда может случиться, что я по несколько раз вынужден проецировать их одну за одной на полотно своего внутреннего экрана и подолгу рассматривать их. Одна картина — это Ханна, одевающая в кухне чулки. Вторая — это Ханна, стоящая перед ванной и держащая в распростертых руках полотенце. Третья — это Ханна, едущая на велосипеде с развевающимся по ветру платьем. И потом еще эта картина, когда Ханна стоит в кабинете моего отца. На ней платье в бело-голубую полоску, которое тогда называли платьем под мужскую рубашку. В нем она выглядит очень молодо. Она провела пальцем по корешкам книг и посмотрела в окно. Теперь она поворачивается ко мне, достаточно быстро, так, что подол ее платья на какое-то мгновение волной поднимается вокруг ее ног, прежде чем снова повиснуть неподвижно. У нее усталый взгляд.

— Это все книги, которые твой отец только прочитал или же написал сам?

Я знал, что мой отец был автором одной книги о Канте и одной о Гегеле, поискав, я нашел их и показал ей.

— Почитай мне из них немного. Не хочешь, парнишка?

— Я...

Я и в самом деле не хотел, но мне не хотелось также отказывать ей. Я взял книгу отца о Канте и стал зачитывать из нее Ханне какой-то пассаж об аналитике и диалектике, который ни она, ни я равным образом не понимали.

— Хватит?

Она посмотрела на меня так, как будто все поняла или так, как будто дело было совсем не в том, что там можно было понять, а что нет.

— Ты когда-нибудь тоже будешь писать такие книги?

Я покачал головой.

— А какие тогда? Другие?

— Не знаю.

— Ты будешь писать пьесы?

— Я не знаю, Ханна.

Она кивнула. Мы сели за десерт и потом пошли к ней. С куда большим

удовольствием я лег бы с ней в свою кровать, но она не хотела. Она чувствовала себя у меня дома непрошенной гостьей. Она не выразила это словами, но это было видно по тому, как она стояла в кухне или в дверях, как ходила из комнаты в комнату, двигалась вдоль книг моего отца и как сидела со мной за столом.

Я подарил ей шелковую ночную рубашку. Она была темно-лилового цвета, с тонкими бретельками, оставляла руки и плечи открытыми и доставала Ханне до лодыжек. Она сверкала и переливалась. Ханна была рада подарку, смеялась и ликовала. Она осмотрела себя сверху донизу, повернулась, сделала несколько танцевальных движений, посмотрела в зеркало, задержавшись у него на какое-то время, и принялась танцевать дальше. Это тоже одна из картин, оставшихся мне от Ханны.

Начало нового учебного года всегда было для меня важным событием. Переход из младшего отделения седьмого класса в старшее принес с собой одно особенно существенное изменение. Мой класс расформировали и распределили по трем параллельным классам. Довольно многие из учеников не смогли преодолеть рубеж, отделяющий младшее отделение от старшего, и поэтому четыре маленьких класса собрали в три больших.

В гимназию, в которой я учился, долгое время принимались только мальчики. Когда в нее стали принимать и девочек, то их поначалу было так мало, что их не распределяли равномерно по параллельным классам, а определяли сперва только в какой-нибудь один и потом уже в остальные два, пока их численность в каждом из классов не составляла одну треть от общей численности учеников в классе. В моем выпуске тогда было не так много девочек, чтобы некоторых из них можно было добавить в мой старый класс. Четвертый по счету параллельный класс, мы были классом, состоявшим из одних мальчиков. Поэтому расформирование и распределение затронули именно нас, а не других.

Об этом мы узнали только в самом начале нового учебного года. Директор гимназии собрал всех нас и сообщил нам, что наш класс расформирован и кто куда сейчас распределен. Вместе с шестью другими одноклассниками я направился по пустым коридорам в новый класс. Нам показали на незанятые места, мне досталось место во втором ряду. Это были парты на одного, стоявшие по две тремя колоннами. Я сидел в средней. Слева от меня сидел мой старый-новый одноклассник Рудольф Барген, грузный, спокойный, надежный парень, шахматист и хоккеист, с которым я в старом классе едва имел контакт, но с которым вскоре нас связала прочная дружба. Справа от меня, по ту сторону прохода, сидели девочки.

Моей соседкой справа была Софи. Каштанововолосая, кареглазая, по-летнему загорелая, с золотистыми волосиками на голых руках. Когда я сел и стал осматриваться по сторонам, она улыбнулась мне.

Я улыбнулся в ответ. Я чувствовал себя хорошо, радовался новому началу в новом классе и предстоящему знакомству с девочками. Будучи еще в младшем отделении, я нередко наблюдал за своими соучениками: независимо от того, были в их классе девочки или нет, они боялись их, избегали их, и либо задавались перед ними, либо только смотрели на них влюбленными глазами. Я же уже имел свой опыт и мог вести себя с ними раскованно и просто по-товарищески. Девочкам это нравилось. Я был уверен, что мне удастся наладить с ними в новом классе хорошие отношения и снискать к себе тем самым уважение «мужской части».

Интересно, это со всеми так бывает? В своем юношестве я всегда чувствовал себя или чересчур уверенно, или чересчур неуверенно. Я казался самому себе или совершенно неспособным, невзрачным и жалким, или же полагал, что я во всех отношениях хорош собою и все у меня должно так же хорошо получаться. Если я чувствовал себя уверенно, мне были по плечу самые большие трудности. Однако самой маленькой неудачи было достаточно, чтобы убедить меня в моей никчемности. Возвращение уверенности в себе никогда не было у меня результатом успеха; по сравнению с тем, каких достижений я, собственно, от себя ожидал и к какому признанию со стороны окружающих стремился, каждый мой успех был ничтожен, и ощущение мною этой ничтожности или, наоборот, гордость за свои успехи зависели у меня от того, в каком душевном состоянии я на данный момент находился. С Ханной на протяжении долгих недель мой внутренний мир был в порядке — несмотря на наши разногласия, несмотря на то, что она то и дело грозила порвать со мной и мне то и дело приходилось перед ней унижаться. И так же гармонично началось для меня лето в новом классе.

Я вижу перед собой нашу классную комнату: спереди справа — дверь, справа на стене — деревянная рейка с крючками для одежды, слева — окна, через которые



видна гора Хейлигенберг, а если подойти к ним ближе, как мы делали это во время перемен, то можно было видеть внизу улицу, реку и луга на другом берегу, спереди — доска, стойка для географических карт и диаграмм, учительский пулт и стул, стоящие на небольшом возвышении. Стены снизу и примерно до уровня среднего человеческого роста были выкрашены желтой масляной краской, выше они были белыми и с потолка свисали две шарообразные лампы молочного цвета. В помещении не было ничего лишнего, никаких картин, никаких растений, никаких парт сверх уже имеющихся, никаких шкафов с забытыми учебниками и тетрадями или цветным мелом. Когда мой взгляд блуждал по классу, он неизменно останавливался на окне или, украдкой, на соседке и соседе. Когда Софи замечала, что я смотрю на нее, она поворачивалась ко мне и улыбалась.

— Берг, то, что София — греческое имя, еще не повод для того, чтобы изучать на уроке греческого языка свою соседку. Переводите дальше!

Мы переводили Одиссею. Я прочитал ее всю раньше на немецком, любил этот эпос и не перестал любить его по сей день. Когда вызывали переводить меня, мне требовались лишь секунды, чтобы найти нужное место и приступить к переводу. После того как учитель поддел меня насчет Софи и весь класс закончил смеяться, я, начиная читать, запнулся, но запнулся совсем по иной причине. Навсикая, по росту и виду напоминающая бессмертных, непорочная и белорукая — кого из двух я мог тут себе представить, Ханну или Софи? Одна из них должна была быть ею.

Когда у самолета отказывают моторы, это еще не означает конец полета. Самолеты не падают с неба камнями. Они, огромные, мощные пассажирские авиалайнеры, планируют дальше, от получаса до сорока пяти минут, чтобы затем разбиться при попытке совершить посадку. Пассажиры ничего не замечают. Полет с отказавшими моторами ощущается не иначе, чем полет с моторами работающими. Он только делается тише, но совсем ненамного: громче моторов шумит ветер, бьющий о фюзеляж и крылья. Рано или поздно, бросив взгляд в иллюминатор, можно увидеть, что земля или море вдруг угрожающе приблизились. Или же все увлечены фильмом и стюардессы опустили на иллюминаторы плотные жалюзи. Не исключено, что более бесшумный полет пассажирам даже особенно приятен.

Лето было планирующим полетом нашей любви. Или, точнее говоря, моей любви к Ханне; о ее любви ко мне я ничего не знаю.

Мы сохранили наш ритуал чтения, мытья в ванне, любви и лежания рядом друг с другом. Я читал ей «Войну и мир», со всеми размышлениями Толстого об истории, великих людях, России, любви и чести. У меня ушло на это в общей сложности, наверное, от сорока до пятидесяти часов. Ханна опять с интересом следила за ходом повествования. Однако на сей раз это выглядело иначе; она воздерживалась от своих суждений, не делала Наташу, Андрея и Пьера частью своего мира, как, например, делала это раньше с Луизой и Эмилией, а просто вступала в их мир так, как с удивлением ступаешь на далекие экзотические берега илиходишь в замок, в который тебя пустили, в котором тебе можно задержаться, который ты можешь дотошно осмотреть, так и не освободившись, однако, до конца от своей робости. Все вещи, которые я читал ей раньше, я к началу чтения уже знал. «Война и мир» была и для меня новым произведением. К далеким берегам мы отправились здесь с ней вместе.

Мы придумывали друг для друга ласкательные имена. Она перестала называть меня одним только «парнишкой», перейдя к разным уменьшительным формам слов вроде лягушка, жук, щенок, камень или роза, иногда с теми или иными определениями. Я оставался верен ее имени Ханна, пока она не спросила меня:

— Какое животное ты себе представляешь, когда обнимаешь меня, закрываешь глаза и видишь перед собой разных животных?

Я закрыл глаза и стал представлять себе разных животных. Мы лежали, прильнув друг к другу, моя голова на ее шее, моя шея на ее груди, моя правая рука под ней и на ее спине и моя левая рука на ее бедре. Я начал гладить ее широкую спину, ее крепкие ляжки, ее плотный зад и одновременно отчетливо чувствовал ее грудь и ее живот на своей шее и своей груди. Ее кожа была под моими пальцами гладкой и мягкой, а ее тело — сильным и надежным. Когда моя ладонь легла на ее икру, я ощутил непрерывную, пульсирующую игру ее мышц. Это вызвало в моем воображении картину о том, как подергивает мышцами лошадь, когда пытается согнать с себя мух.

— Я представляю себе лошадь.

— Лошадь?

Она высвободилась из моих объятий, приподнялась и посмотрела на меня. Посмотрела на меня в ужасе.

— Тебе разве не нравится? Я потому так подумал, что ты такая приятная на ощупь, гладкая и мягкая, а дальше под кожей — крепкая и сильная. И потому, что твоя икра дергается.

Я объяснил ей свою ассоциацию. Она посмотрела на игру мышц своих икр.

— Лошадь... — покачала она головой, — не знаю даже...

Это была не ее манера. Обычно она выражала свое мнение совершенно однозначно, или согласием или отрицанием. С первой секунды под ее испуганным взглядом я был готов, если надо, взять все обратно, повиниться и просить о прощении. Но теперь я пробовал примирить ее с этим лошадиным сравнением.

— Я бы, например, мог называть тебя Шеваль или Но-Но, Хуазо или Царица Розалинда. Когда я представляю себе лошадь, я думаю не о лошадиных зубах или о лошадином черепе или что бы там тебе не нравилось в лошади, а о чем-то добром, теплом, мягком и сильном. Ты для меня не зайка или киска, и тигрицей тебя тоже нельзя назвать — в ней есть что-то такое... что-то злое, а ты не такая.

Она легла на спину, положив руки под голову. Теперь я привстал и смотрел на нее. Ее взгляд был направлен в пустоту. Через какое-то время она повернула ко мне свое лицо. Оно выражало необыкновенную глубину чувств.

— Нет, мне нравится, когда ты называешь меня лошадью или другими лошадиными именами. Ты объяснишь мне их?

Однажды мы были с ней вместе в театре в соседнем городе и смотрели «Коварство и любовь». Для Ханны это было первое посещение театра в ее жизни, и она получала удовольствие от всего — от самого спектакля до шампанского в антракте. Я поддерживал ее за талию и мне было все равно, что о нас, как о паре, думают люди. Я гордился тем, что мне было все равно. Вместе с тем я знал, что будь мы в театре в моем родном городе, то там бы мне было совершенно не все равно. А она знала об этом?

Она знала, что моя жизнь летом не вращалась больше только вокруг нее, вокруг школы и учебы. Все чаще, когда я приходил к ней под вечер, я приходил из городского открытого бассейна. Это было место, где собирались мои одноклассники и одноклассницы, где мы сообща выполняли домашние задания, играли в футбол, волейбол и скат и флиртовали. Там кипела коллективная жизнь класса, и для меня много значило быть там и участвовать в этой жизни. То, что я, в зависимости от того, как работала Ханна, приходил в бассейн позже или уходил раньше других, не вредило моему авторитету, а, наоборот, делало меня интересным. Я знал это. Я знал также, что я ничего не пропускал на этих встречах, и тем не менее у меня нередко бывало такое чувство, что именно тогда, когда я на них отсутствовал, там без меня что-то, бог знает что, происходило. Я долго не решался задать себе вопрос, где мне хотелось бы быть больше, в бассейне или у Ханны. На мой день рождения в июле мне в бассейне устроили настоящее чествование, лишь с сожалением и неохотой я был отпущен потом по своим делам и хмуро встречен утомленной Ханной. Она не знала, что у меня был день рождения. Еще раньше я поинтересовался, когда был день рождения у нее, и она сказала, что двадцать первого октября, о моем же она ничего не спросила. И настроение у нее, надо сказать, было не хуже, чем обычно, когда она приходила уставшая с работы домой. Но на меня неприятно действовала ее угрюмость, и мне хотелось вернуться обратно в бассейн, к одноклассницам и одноклассникам, к легкости наших разговоров, шуток, игр и флирта. Когда я тоже ответил ей раздраженно, мы принялись спорить и Ханна начала обращаться со мной, как с пустым местом, меня снова охватил страх, что я потеряю ее, и я стал унижаться и извиняться до тех пор, пока она не приняла меня в свои объятия. Однако я не мог избавиться от своей озлобленности.

Потом я начал предавать ее.

Я не выдавал никаких тайн и не выставлял Ханну в дурном свете, нет. Я не открывал ничего из того, что мне следовало держать при себе. Я держал при себе то, что мне следовало открыть. Я не признавался в наших отношениях. Я знаю, что отречение является неброским вариантом предательства. Снаружи не видно, отрекается ли человек или только оберегает какой-то секрет, проявляет тактичность, избегает неприятностей и неловких ситуаций. Однако тот, кто не признается, все очень хорошо знает. И отречение в той же мере обрекает на гибель любые отношения, как и самые эффектные варианты предательства.

Я уже не помню, когда я отрекся от Ханны в первый раз. Товарищеские связи летних дней в бассейне постепенно перерастали в дружеские. Помимо моего соседа по парте слева, знакомого мне по старому классу, мне в новом классе особенно нравился Хольгер Шлютер, который, как и я, интересовался историей и литературой и с которым я быстро нашел общий язык. Общий язык я нашел вскоре и с Софи, которая жила от меня несколькими улицами дальше и с которой мне поэтому было по пути, когда я направлялся в бассейн. Сначала я говорил себе, что еще недостаточно хорошо знаю своих новых друзей, чтобы рассказать им о Ханне. Позже у меня не находилось подходящей возможности, подходящей минуты, подходящих слов. В итоге было уже поздно рассказывать о Ханне, вытягивать ее на поверхность наряду с другими своими юношескими тайнами. Я говорил себе, что если я начну рассказывать о ней с таким опозданием, то это наверняка создаст у всех впечатление, что я потому молчал о Ханне так долго, что в наших отношениях не все уж так благополучно и что я мучаюсь плохой совестью. Но как бы я себя не уверял — я знал, что предавал Ханну, когда делал вид, будто рассказываю друзьям о чем-то важном в своей жизни и при этом не говорил о Ханне ни слова.

То, что они замечали, что я был с ними не совсем откровенен, ничуть не улучшало ситуации. Как-то вечером по дороге домой мы с Софи попали под сильную грозу и спрятались в нойенгеймском поле, в котором тогда еще не стояло здание университета, а кругом простирались сады и пашни, под навесом одного из садовых домиков. Вовсю сверкала молния и гремел гром, бушевал ветер и большими, тяжелыми каплями стучал дождь. В довершение всего температура понизилась, наверное, градусов на пять. Нам сделалось холодно, и я обнял Софи.

— Михаэль?

Она смотрела не на меня, а перед собой, на потоки дождя.

— Да?

— Ты так долго болел, у тебя была желтуха. Теперь у тебя проблемы из-за твоей болезни? Ты боишься, что до конца не выздоровеешь? Может, тебе врачи сказали что-то? И теперь тебе каждый день надо ходить в больницу на переливание крови и разные инъекции?

Ханна как болезнь... Мне было стыдно. Но о Ханне я не мог говорить и подавно.

— Нет, Софи. Я больше не болен. Моя печень в полном порядке, и через год мне даже можно будет пить алкоголь, если я захочу, конечно, но я не хочу. Проблема в том...

Мне не хотелось, когда речь шла о Ханне, говорить о какой-то проблеме.

— Я прихожу позже и ухожу раньше совсем по другой причине.

— Ты не хочешь об этом говорить или, в общем-то, хочешь, но не знаешь, как?

Я не хотел или не знал, как? Я и сам не мог ответить на этот вопрос. Но когда мы

стояли там вдвоем, под вспышками молний, под раскатистым и близким рокотом грома и под шумом проливного дождя, замерзшие и слегка согревающие друг друга, у меня было такое чувство, что именно ей, Софи, я должен был рассказать о Ханне.

— Может быть, я расскажу тебе об этом в другой раз.

Но до этого так никогда и не дошло.

Для меня осталось полной загадкой, чем занималась Ханна, когда она не работала, или когда мы не были с ней вместе. Если я спрашивал ее об этом, то она только отмахивалась от моих вопросов. У нас не было своего общего мира, в своей жизни она отводила мне то место, которое сама считала нужным. С этим мне приходилось мириться. Если я хотел иметь или хотя бы только знать больше, то это было связано с определенным риском. Когда в какой-нибудь из наиболее умиротворенных моментов наших встреч, я, движимый чувством, что сейчас все возможно и все дозволено, спрашивал ее о чем-нибудь личном, то могло случиться, что она, вместо того, чтобы просто отмахнуться от моего вопроса, уклонялась от прямого ответа на него: «Ну и любопытный же ты, парнишка!». Или, скажем, она брала мою руку и клала ее себе на живот: «Ты хочешь, чтобы в нем были дыры?». Или она начинала загибать пальцы: «Мне надо стирать, мне надо гладить, мне надо подметать, мне надо вытирать пыль, мне надо бежать в магазин, мне надо готовить, мне надо идти трясти сливы, мне надо собирать их, нести домой и быстро делать варенье, иначе этот малыш...», она зажимала мизинец левой руки между большим и указательным пальцами правой, «...иначе он съест их все один».

Я также ни разу не встретил ее случайно, на улице, в магазине или в кино, куда она, по ее словам, любила часто ходить и куда я в первые месяцы все время хотел пойти с ней, но ей тогда не хотелось. Иногда мы говорили о фильмах, которые посмотрели. Она, что интересно, ходила в кино без разбора и смотрела все подряд, начиная от немецких фильмов на военную и деревенско-романтическую тематику и заканчивая вестернами и картинками нового французского кино. Мне же нравились фильмы из Голливуда, все равно, где бы в них не происходило действие, в Древнем Риме или на диком Западе. Один вестерн нам нравился особенно; Ричард Видмарк играет в нем шерифа, которому на следующее утро предстоит драться на дуэли, у него нет шансов выйти из нее живым и накануне вечером он стучится в дверь Дороти Малоун, безуспешно советовавшей ему бежать. Она открывает: «Чего ты хочешь? Всей своей жизни за одну ночь?». Ханна поддразнивала меня иногда, когда я приходил к ней, весь переполненный желанием: «Чего ты хочешь? Всей своей жизни за один час?».

Только раз я видел Ханну вне наших запланированных встреч. Это было в конце июля или в начале августа, в последние дни перед большими каникулами.

Ханна целыми днями была в каком-то странном настроении, она вела себя капризно и повелительно и вместе с тем заметно находилась под каким-то давлением, которое до крайности мучало ее, делало ко всему чувствительной и легкоранимой. Она крепилась и держала себя в руках, словно ей во что бы то ни стало нельзя было дать этому давлению разорвать себя на части. На мой вопрос, что ее так мучает, она отреагировала грубо. В который раз я оказался в положении изгоя. И все же я ощущал не только ее неприступность, но и ее беспомощность и пытался, как мог, поддерживать ее и одновременно не досаждал ей. В один прекрасный день давление исчезло. Сначала я подумал, что Ханна снова стала прежней. Закончив читать «Войну и мир», мы не сразу начали новую книгу, я пообещал ей что-нибудь найти и принес на выбор несколько произведений. Но она не хотела читать.

— Давай я тебя искупаю, парнишка!

То была не летняя духота, что тяжелым полотном опустилась на меня, когда я вошел в кухню. Ханна зажгла ванную колонку. Она пустила воду, добавила в нее несколько капель лавандового шампуня и принялась мыть меня. Бледно-голубой халат с цветочками, под которым на ней ничего не было, прилипал в жарком, влажном воздухе к ее потейшему телу. Она очень возбуждала меня. Когда мы занялись любовью, меня не покидало чувство, что она хочет довести меня до ощущений, лежащих за пределами всего того, что мне доводилось ощущать раньше, до сладостных высот, где я уже больше не мог ничего вынести. И то, как она отдавалась мне, было неповторимым: не безудержно — границ своей

сдержанности она никогда не оставляла, — но так, как будто хотела утонуть вместе со мной в своей страсти.

— А сейчас — дуй к своим друзьям.

Мы попрощались и я поехал в бассейн. Жара заполнила промежутки между домами, расползлась по полям и садам и с мерцанием висела над асфальтом. Я был точно чем-то оглушен. В бассейне крики играющих и купающихся детей едва достигали моего слуха, так, словно шли откуда-то из дальних далей. И вообще, весь мир словно отделился от меня, а я от него. Я окунался в хлористую, молочную воду и у меня не было желания всплывать на поверхность. Я лежал рядом с другими, слушал их и находил то, о чем они говорили, смехотворным и пустяковым.

Рано или поздно это мое настроение развеялось. День постепенно возвращался к нормальности своего послеобеденного ритма в бассейне, с выполнением домашних заданий, игрой в волейбол, непринужденной болтовней и флиртом. Не помню, чем я был занят в тот момент, когда поднял взгляд и увидел ее.

Она стояла примерно в двадцати-тридцати метрах от меня, в шортах и открытой, собранной на животе в узел блузке и смотрела в мою сторону. Я ответил ей взглядом. На таком расстоянии я не мог видеть выражения ее лица. Я не вскочил и не побежал к ней. В моей голове закружились мысли, почему это она вдруг оказалась в бассейне, хотела ли она, чтобы я заметил ее, хотела ли она, чтобы ее видели вместе со мной, что мы еще никогда не встречались вот так, случайно, и как мне, вообще, нужно было вести себя. Потом я встал. В тот короткий миг, когда я, вставая, отвел от нее взгляд, она ушла.

Ханна в шортах и в завязанной спереди на узел блузке, с обращенным ко мне лицом, выражения которого я не могу разобрать, — это тоже картина, оставленная мне ею.

На следующий день она уехала. Я пришел к ней как обычно и позвонил. Я посмотрел сквозь дверь — все было на своих местах и я слышал привычное тиканье часов.

Я снова сел на ступеньки лестницы. В первые месяцы я всегда знал, по каким маршрутам она ездит, даже если никогда больше не пытался сопровождать ее или просто встречать с работы. Со временем я перестал спрашивать ее о ее рабочем графике, не интересовался больше этим. Только сейчас это пришло мне в голову.

Из телефонной будки на Вильгельмсплац я позвонил в управление трамвайных путей и горных железных дорог, меня пару раз соединили с другими аппаратами и я узнал, что Ханна Шмитц не вышла на работу. Я пошел назад на Банхофштрассе, спросил в столярной мастерской во дворе, где живет владелец дома, и мне назвали его имя вместе с адресом в Кирхгейме. Я поехал туда.

— Фрау Шмитц? Она выехала из квартиры сегодня утром.

— А ее мебель?

— Это не ее мебель.

— С какого времени она жила в этой квартире?

— А вам, собственно, какое дело?

Женщина, разговаривавшая со мной через окошко в двери, закрыла его.

В здании управления трамвайных путей и горных железных дорог я дошел до отдела кадров. Служащий, принявший меня, был вежлив и озабочен.

— Она позвонила сегодня утром — у нас еще оставалось время, чтобы подыскать ей замену — и сказала, что не придет больше на работу. Совсем.

Он с сожалением покачал головой.

— Две недели назад она сидела здесь, на стуле, где сидите сейчас вы, и я предложил ей учиться у нас на вагоновожатую. И она вот так все бросает...

Только через несколько дней я додумался обратиться в адресный стол. Она выписалась в Гамбург, без указания адреса.

Целыми днями я чувствовал себя прескверно. Я следил за тем, чтобы мои родители и брат с сестрами ничего не заметили. За столом я старался участвовать в общем разговоре, понемногу ел и успевал, когда меня тянуло на рвоту, закрыться в туалете. Я продолжал ходить в школу и в бассейн. Там я уединялся в месте, где меня никто не искал. Мое тело тосковало по Ханне. Но хуже телесной тоски было чувство вины. Почему я, когда увидел, что она стоит там, не вскочил сразу и не побежал к ней! В этой короткой ситуации для меня фокусировалось сейчас все мое двоедушие последних месяцев, с которым я отрекался от нее, предавал ее. В наказание за это она ушла от меня.

Время от времени я пытался убедить себя в том, что это не ее я видел тогда стоявшей у бассейна. Почему это я был так уверен, что это была она, когда я и лица-то толком не видел? Разве я, если это была она, не должен был сразу узнать ее лицо? Значит, не мог ли я теперь быть уверенным в том, что это все-таки была не она?

Однако я знал, что это была она. Она стояла и смотрела — и было уже слишком поздно.



После того как Ханна уехала из города, прошло немало времени, прежде чем я перестал повсюду высматривать ее, пока я привык к тому, что послеобеденные часы лишились для меня своего содержания, пока я снова смог держать в руках и открывать книги, не задаваясь вопросом, подходят они для чтения вслух или нет. Прошло немало времени, прежде чем мое тело освободилось от тоски по ее близости; иногда я сам замечал, как мои руки и ноги пытались нащупать ее во сне, и мой брат не раз объявлял за столом во всеуслышание, что я звал во сне какую-то Ханну. Я помню также уроки в школе, во время которых я только и делал, что думал и грезил о ней. Чувство вины, мучавшее меня в первые недели, развеялось. Я избегал проходить мимо ее дома, ходил другими дорогами, а через полгода наша семья переехала в другой район. Не скажу, чтобы я забыл Ханну, но со временем воспоминания о ней перестали неотступно преследовать меня. Она осталась позади, как остается город, когда поезд движется дальше. Он где-то там, позади тебя, этот город, и можно поехать и убедиться, что он никуда не исчез. Но зачем?

Последние годы в школе и первые в университете сохранились в моей памяти как счастливые годы. В то же время я могу сказать о них совсем мало. Они были нетрудными; экзамены на аттестат зрелости прошли для меня легко и изучение юриспруденции, которую я выбрал, скорее, повинаясь сиюминутной ситуации, тоже шло гладко; дружеские и любовные связи, равно как и расставания, давались мне без особого труда, ничего не представляло для меня особого труда. Все давалось мне легко, все весило легко. Наверное, поэтому багаж моих воспоминаний о том периоде такой маленький. Или это я держу его таким маленьким? Да и такие ли уж это радужные воспоминания? Если напрячь память посильнее, то на ум мне приходит немало постыдных и неприятных ситуаций и я понимаю, что хотя я и распрощался с воспоминаниями о Ханне, но до конца от них так и не отделался. Никогда больше после Ханны не унижаться и не давать унижать себя, никогда больше не быть в роли виноватого, никогда больше не любить никого так, чтобы его потеря причинила тебе боль — все это я тогда не то, чтобы отчетливо осознавал, но решительно чувствовал.

Я взял в привычку напускать на себя надменную, высокомерную жеманную манеру поведения и представлял перед другими типом, которого ничего не трогает, ничего не выводит из равновесия, ничего не сбивает с толку. Я не давал к себе подступиться, держал всех и вся на удалении, и вспоминаю одного учителя, который заметил это, попробовал со мной об этом заговорить и получил от меня отпор в самой дерзкой форме. Я вспоминаю и Софи. Вскоре после того как Ханна уехала, у Софи обнаружили туберкулез. Она провела три года в санатории и вернулась, когда я только-только стал студентом. Она чувствовала себя одинокой, искала контакта со старыми друзьями, и для меня не представляло особого труда завоевать ее сердце. После того как мы провели вместе ночь, она заметила, что мне, в общем-то, было до нее мало дела и сказала в слезах: «Что с тобой такое случилось, что случилось...». Я вспоминаю своего деда, который во время одной из наших последних встреч перед своей смертью хотел благословить меня и которому я заявил, что не верю в эту чушь и могу спокойно обойтись без всяких благословений. Сегодня мне трудно представить, что после такой выходки я мог чувствовать себя тогда хорошо. Я помню также, что какие-нибудь незначительные проявления доброты и нежности вдруг вызывали у меня комок в горле, не важно, к кому эти проявления относились, ко мне или к кому-нибудь другому. Иногда достаточно было одной сцены в каком-нибудь фильме. Это одновременное сосуществование во мне бездушия и чувствительности было самому мне подозрительным.

Ханну я снова увидел в зале суда.

Это был не первый «концлагерный» процесс и не самый крупный. Профессор, один из немногих, занимавшихся тогда правовой стороной преодоления нацистского прошлого и методикой специального судебного производства, сделал этот процесс предметом отдельного семинара, надеясь с помощью студентов от начала до конца проследить за его ходом и вывести из него необходимые заключения. Я не помню, что он хотел проверить, подтвердить или опровергнуть. Я помню, что на семинаре велась дискуссия о запрете уголовного наказания, имеющего обратную силу. Достаточно ли было того, что параграф, по которому выносились приговоры охранникам и палачам нацистских концлагерей, уже ко времени их преступлений имелся в уголовном кодексе, или все зависело от того, как этот параграф понимался и применялся в то время и что, по сути дела, он тогда на этих охранников и палачей совсем не распространялся? Что такое законность? То, что написано в книге, или то, что в обществе фактически проводится и соблюдается? Или законность это то, что, независимо от того, написано это в книге или нет, должно проводиться и соблюдаться только тогда, когда в обществе все законно? Профессор, человек почтенного возраста, вернувшийся из эмиграции, но оставшийся стоять в немецком правоведении особняком, участвовал в этих дискуссиях с авторитетом всей своей учености и одновременно со сдержанностью того, кто в решении той или иной проблемы не делает больше ставку на одну ученость.

— Посмотрите на обвиняемых, — говорил он. — Вы не найдете среди них ни одного, кто действительно считает, что в то время ему можно было безнаказанно убивать.

Семинар начался зимой, судебное разбирательство — весной. Оно растянулось на долгие недели. Дела слушались с понедельника по четверг, и на каждый из этих четырех дней профессор назначал группу студентов, которая вела в суде дословный протокол. По пятницам проводились заседания семинара, где пересматривались события минувшей недели.

Пересмотр! Пересмотр прошлого! Мы, студенты семинара, видели себя авангардом этого пересмотра. Мы распахивали окна, впускали свежий воздух, ветер, который поднимал, наконец, пыль, опущенную обществом на ужасы прошлого. Мы заботились о том, чтобы можно было дышать и видеть. Мы тоже не делали ставку на юридическую ученость. Необходимость вынесения приговоров была для нас несомненной. Таким же несомненным являлось для нас то, что осуждение того или иного охранника и палача было важным лишь постольку-поскольку. Здесь перед судом стояло целое поколение, которое пользовалось охранниками и палачами, или не мешало их грязным делам, или хотя бы не вытолкнуло их в свое время вон, как оно могло вытолкнуть их и после сорок пятого года, и мы приговаривали это поколение на нашем процессе пересмотра и просвещения к позору.

Наши родители играли в нацистской Германии самые разные роли. У кого-то отцы воевали — среди них были, например, два-три офицера вермахта и один войск СС, — у кого-то они сделали карьеру в юстиции и административном деле; среди наших родителей были учителя и врачи, и у кого-то был дядя, занимавший раньше высокий пост в рейхсминистерстве внутренних дел. Я уверен, что у всех у них, когда мы спрашивали их об их прошлом и они отвечали нам, были совершенно разные варианты ответа. Мой отец не хотел говорить о себе. Но я знал, что он лишился своего места доцента философии из-за того, что хотел однажды прочитать лекцию о Спинозе, и помог потом себе и нам пережить войну, работая лектором в издательстве маршрутных карт и книг по туризму. Как я мог приговаривать его к позору? Однако я делал это. Мы все приговаривали наших родителей к позору, даже если мы могли обвинить их только в том, что они после сорок пятого терпели у себя и среди себя преступников.

У нас, студентов семинара, со временем развилось сильное чувство

принадлежности к своей группе. «Концлагерная братия» — сначала нас называли так другие студенты, а вскоре и мы себя сами. То, чем мы занимались, других не интересовало; многим это было непонятно, а некоторых прямо-таки отталкивало. Сегодня я думаю, что тот пыл, с которым мы знакомились с ужасами преступлений военных лет и с которым мы хотели довести их до сведения других, действительно был отталкивающим. Чем страшнее были события, о которых мы читали и слышали, тем сильнее была наша уверенность в нашей просветительской и обвинительной миссии. Даже если от тех событий у нас перехватывало дыхание — мы с триумфом поднимали их над собой. Вот вам, смотрите!

Я записался на тот семинар из чистого любопытства. Он сулил что-то новое, уводящее в сторону от торгового права, виновности и пособничества, Саксонского зеркала и древней философско-правовой абракадабры. Свое надменное, высокомерное жеманничанье я принес с собой и на семинар. Но на протяжении зимы я все больше и больше вовлекался в него — не из-за событий, о которых мы читали и слышали, и не из-за рвения, охватившего студентов семинара. Поначалу мне казалось, что я хочу делить со всеми только научное рвение или, скажем, рвение политического или морального свойства. Однако я хотел большего, я хотел быть частью общего рвения. И даже если для других я все еще продолжал оставаться неприступным и заносчивым, у меня во время зимних месяцев было хорошее чувство, что я сделал верный выбор и нахожусь в полном согласии с самим собой, с тем, что я делаю, и с теми, с кем я это делаю.

Процесс проходил в другом городе — от нас примерно в часе езды на машине. Я там раньше никогда не был. Меня взял с собой другой студент. Он вырос в том городе и хорошо его знал.

Был четверг. Судебное разбирательство началось в понедельник. Первые три дня ушли на рассмотрение ходатайств защитников о судейской предвзятости. Мы были четвертой группой, которой в день общего допроса обвиняемых предстояло документировать собственное начало процесса.

Под цветущими фруктовыми деревьями мы ехали по горной дороге. Мы были в приподнятом, воодушевленном настроении; наконец-то мы могли на деле показать, к чему все это время готовились. Мы чувствовали себя не просто наблюдателями, слушателями и протоколистами. Наблюдать, слушать и протоколировать было нашим вкладом в пересмотр прошлого.

Здание суда было постройкой рубежа веков, но без пышности и мрачности, которую часто демонстрируют судебные здания того времени. В зале, в котором заседал суд присяжных, слева был ряд больших окон, их матовые стекла не давали разглядеть ничего снаружи, зато впускали много света внутрь. Перед окнами сидели прокуроры, которых в яркие весенние и летние дни можно было различить по одним лишь контурам. Сам суд, три судьи в черных мантиях и шесть шеффенов, восседал во главе зала, справа же находилась скамья подсудимых и защитников, удлиненная из-за их немалого числа столами и стульями до середины зала, до самых рядов с публикой. Некоторые из подсудимых и защитников сидели к нам спинами. Ханна тоже сидела к нам спиной. Я узнал ее лишь тогда, когда ее вызвали, когда она встала и вышла вперед. Конечно, я сразу узнал ее имя: Ханна Шмитц. Потом я узнал также ее фигуру, голову с незнакомо скрученными мне в узел волосами, шею, широкую спину и сильные руки. Она держалась прямо. Она прочно стояла на обеих ногах. Ее руки свободно свисали. На ней было серое платье с короткими рукавами. Я узнал ее, но ничего не почувствовал. Ровным счетом ничего.

Да, сказала она, она хочет стоять. Да, она родилась двадцать первого октября 1922 года под Германштадтом и сейчас ей сорок три года. Да, она работала в Берлине на фабрике «Сименс» и осенью 1943 года пошла в СС.

— Вы вызвались идти в войска СС добровольно?

— Да.

— Почему?

Ханна не ответила.

— Это верно, что вы пошли в СС, несмотря на то, что на фабрике вам было предложено место старшей рабочей?

Адвокат Ханны подскочил:

— Что значит это «несмотря на то, что»? Что это за подтасовка, подразумевающая, что женщинам в то время лучше было оставаться на фабрике на более высоких должностях, чем идти в СС? Делать решение моей подзащитной предметом такого вопроса ничем не оправдано!

Адвокат сел. Он был единственным молодым защитником, все остальные были старыми, и некоторые из них, как выяснилось вскоре, к тому же старыми нацистами. Адвокат Ханны избегал их жаргона и их аргументации. Но он был слишком невыдержан в своем пылу, что вредило его подзащитной в той же степени, что и национал-социалистские тирады его коллег их подзащитным. Хотя он и добился того, что на лице председателя суда промелькнуло некоторое

замешательство и он не продолжал больше углублять вопрос, почему Ханна вызвалась вступить в ряды СС, однако впечатление, что сделала она это сознательно и без особой нужды, осталось. То, что один из членов состава суда спросил Ханну, какую работу она ожидала получить в СС, и она ответила, что на «Сименсе», а также на других предприятиях женщины набирались в эти войска для исполнения надзирательских функций, что для этого она вызвалась идти туда и именно такую работу там получила, — не изменило больше ничего в первом негативном впечатлении, произведенном Ханной.

Дальше Ханна односложно подтвердила председателю, что до весны 1944 года она входила в состав охранного подразделения Освенцима и до зимы 1944-45 годов несла службу в небольшом лагере под Краковом, что оттуда она, охраняя колонну заключенных, совершила марш на запад, что она дошла до цели, что к концу войны она находилась в Касселе и с тех пор жила то здесь, то там. Восемь лет она прожила в моем родном городе; это был самое долгое время, проведенное ею на одном месте.

— Не является ли частая перемена места жительства основанием для предположения, что обвиняемая хочет скрыться от суда?

В голосе адвоката слышалась открытая ирония:

— Моя подзащитная каждый раз, меняя место жительства, соблюдала все правила прописки и выписки. Нет никаких оснований предполагать, что она может скрыться от суда, равно как и нет ничего такого, что она могла бы от него утаить. Неужели судье, занимающемуся вопросами взятия под стражу, представляется недопустимым пребывание мой подзащитной на свободе ввиду тяжести деяний, в которых она обвиняется, и ввиду опасности возбуждения общественного мнения? Это, уважаемые судьи, чисто нацистское основание для ареста; оно было придумано нацистами и после них снова устранено. Его больше не существует.

Адвокат говорил со злобным удовольствием, с которым одна спорящая сторона преподносит другой пикантную правду.

Я похолодел. До меня дошло, что я одобрял заключение Ханну под стражу и считал его вполне нормальным. Не из-за тяжести обвинения и силы подозрения, о чем я еще толком ничего не знал, а потому, что тюремная камера напроочь отделила бы Ханну от моего мира, убрала бы ее из моей жизни. Я хотел держать ее от себя подальше, так недостижимо далеко, чтобы она оставалась одним лишь воспоминанием, которым и была для меня все эти годы. Если адвокат добьется успеха, то мне придется быть готовым ко встрече с ней и я должен буду дать самому себе ответ, хочу ли я встречаться с ней и нужно ли мне это. Я не видел причин, по которым суд мог бы отказать адвокату. Если до сих пор Ханна не пыталась скрыться от суда, то зачем ей делать это сейчас? И что такое она могла утаить? Других оснований для ареста тогда не было.

Председатель снова пришел в замешательство, и я начал понимать, что это было его своеобразной уловкой. Как только какое-нибудь высказывание представлялось ему затруднительным и неудобным, он снимал очки, ощупывал говорящего близоруким, неуверенным взглядом, морщил лоб и либо игнорировал высказывание, либо начинал вставлять фразы типа «Значит, вы полагаете...», «Значит, вы хотите сказать...» и повторял потом высказывание в такой форме, которая не оставляла никаких сомнений на тот счет, что он не намерен больше задерживаться на нем и что тут совершенно бесполезно оказывать на него какое-либо давление.

— Значит, вы полагаете, что судья, занимающийся вопросами взятия под стражу, просто придал неверное значение тому обстоятельству, что обвиняемая не ответила ни на одно официальное письмо и ни на одну повестку о вызове, и не удостоила своим посещением ни полицию, ни прокуратуру, ни суд? Вы хотите ходатайствовать об отмене приказа об аресте?

Адвокат подал ходатайство, и суд отклонил его.

Я не пропускал ни одного дня судебного разбирательства. Другие студенты удивлялись. Профессор же был рад, что благодаря одному из нас очередная группа узнавала то, что слышала и видела последняя.

Только один раз Ханна посмотрела в ряды с публикой и в мою сторону. Обычно во время всех заседаний, после того как ее вводили в зал и она садилась на свое место, ее взгляд был неотступно направлен на судей. Это создавало впечатление некоторой высокомерности, и такое же впечатление создавало то, что она не разговаривала с другими обвиняемыми и едва общалась со своим адвокатом. Правда, другие обвиняемые переговаривались друг с другом тем меньше, чем дольше длились заседания. Во время перерывов они стояли вместе со своими родственниками и знакомыми, приветствовали их жестами и возгласами, когда видели их утром в зале. Ханна во время перерывов оставалась сидеть на своем месте.

И я видел ее со спины. Я видел ее голову, ее шею, ее плечи. Я читал ее голову, ее шею, ее плечи. Когда речь шла о ней, она держала голову особенно высоко. Когда ей казалось, что с ней поступают несправедливо, что на нее клеветают и открыто на нее нападают, и она пыталась что-то возразить, то она выдвигала плечи вперед, ее шея напрягалась и на ней было отчетливее заметно движение мышц. Ее возражения всегда заканчивались неудачей, после чего ее плечи всегда устало обвисали. Она никогда не пожимала ими, а также никогда не качала головой. Она была слишком напряжена для того, чтобы позволить себе мимолетную легкость пожатия плечами или качания головой. Она также не позволяла себе держать голову наклоненной, равно как не позволяла себе опускать ее или подпирать руками. Она сидела, словно застывшая. Сидеть так было явно до боли неудобно.

Иногда из-под тугого узла волос на ее затылке выбивалось несколько прядей, они завивались, опускались ей на шею и плавно над ней трепетали. Иногда на Ханне было платье, широкий вырез которого позволял видеть родинку на ее левом плече. Тогда я вспоминал, как сдувал с этой шеи волосы и как целовал эту родинку и эту шею. Но воспоминание было одной лишь сухой регистрацией. Я ничего при этом не чувствовал.

Во время всего процесса, растянувшегося на много недель, я ничего не чувствовал, мои чувства были точно под наркозом. При случае я провоцировал их, представлял себе Ханну в тех ситуациях, которые ставились ей в вину, так явственно, как только мог, и так же отчетливо представлял себе ее в тех ситуациях, которые вызывали в моей памяти волосы на ее затылке и родимое пятно на ее плече. Примерно так бывает, если ущипнуть руку, онемевшую от укола с обезболивающим средством. Рука не знает, что пальцы ущипнули ее, пальцы знают, что они ущипнули руку, и мозг в первый момент не разбирает, что к чему. Но во второй момент он уже точно все знает. Быть может, пальцы ущипнули так сильно, что на руке некоторое время видно белое пятно. Потом кровь возвращается обратно, и место, где ты ущипнул, вновь покрывается нормальным цветом. Но само ощущение из-за этого еще не возвращается.

Кто сделал мне этот укол? Я сам, потому что не выдержал бы всего этого без заморозки? Обезболивающее средство действовало не только в зале суда и не только так, что я мог смотреть на Ханну глазами другого человека, который когда-то любил и страстно желал ее, глазами постороннего, которого я хорошо знал, но который не имел со мной ничего общего. Я также во всем остальном находился как бы снаружи себя и смотрел на себя со стороны, видел себя в университете, видел себя общающимся со своими друзьями, со своими родителями, братом и сестрами, однако внутренне я не принимал в этом никакого участия.

Через некоторое время мне стало казаться, что подобным состоянием безучастности и оцепенения охвачены и другие. Не адвокаты, отличавшиеся на протяжении всего процесса крикливой, ершистой задиристостью, педантичной

резкостью или же шумной, бесчувственной наглостью, в зависимости от их личного и политического темперамента. Хотя процесс их и изматывал; к вечеру они уставали или, что тоже случалось, делались более визгливыми. Но за ночь они снова набирались сил или спеси и грохотали и шипели следующим утром так же, как и утром раньше. Прокуроры пытались не отставать от адвокатов и проявлять день за днем те же бойцовские качества. Но это им плохо удавалось, сначала потому, что предмет и результаты процесса приводили их в ужас, и позже потому, что начинала действовать заморозка. Сильнее же всего она действовала на судей и шеффов. В первые недели процесса они с видимым потрясением или же с натянутой сдержанностью внимали кошмарам, преподносимым и подтверждаемым им то в слезах, то срывающимся голосом, то затравленно или смущенно. Позже их лица снова приобрели нормальный вид, могли с улыбкой нашептывать друг другу какие-нибудь замечания или выражать легкое нетерпение, когда, например, свидетель начинал уходить в своих показаниях от темы. Когда однажды на одном из заседаний был затронут вопрос поездки в Израиль, где необходимо было заслушать одну свидетельницу, на лицах судей засветилась нескрываемая радость. Заново в ужас неизменно приходили другие студенты. Каждую неделю они только раз появлялись на процессе и каждый раз вторжение кошмара в их будни происходило с новой силой. Я, тот, кто присутствовал на процессе изо дня в день, наблюдал за их реакцией с отстраненным участием — как узник концлагеря, долгие месяцы боровшийся за выживание, приспособившийся к своему окружению и теперь равнодушно регистрирующий страх новоприбывших, регистрирующий его в состоянии того же оцепенения, с которым он воспринимает убийства и смерть. Во всей литературе, написанной теми, кто пережил ужасы концлагерей, говорится об этом состоянии оцепенения, при котором жизненные функции сокращаются до минимума, поведение становится безучастным и безжалостным, а смерть в газовых камерах или печах крематория повседневной. В скудных рассказах обвиняемых газовые камеры и печи крематория тоже представлялись как часть их повседневного окружения, а сами они — сокращенными до минимума функций, словно оцепеневшие или одурманенные в их безучастности и безжалостности, в их тупом безразличии. У меня было такое впечатление, будто обвиняемые до сих пор находятся и теперь уже навсегда останутся в плену этого оцепенения, будто они в нем до известной степени окаменели.

Уже тогда, когда я размышлял об этой общности оцепененного состояния, а также о том, что оцепенение охватило в свое время не только преступников и их жертвы, но теперь и всех нас, тех, кто сидел сейчас в судебном зале в качестве судьи или шеффена, прокурора или протоколиста, когда я сравнивал при этом преступников и жертвы, мертвых и живых, выживших и потомков, — уже тогда мне было не по себе, не по себе мне и сегодня. Можно ли делать сравнения подобного рода? Если я в каком-нибудь разговоре начинал делать попытки такого сравнения, я всегда подчеркивал, что это сравнение не изображает как нечто относительное разницу, был ты заключенным концлагеря или его палачом, страдал ты в нем или причинял страдания другим, что, напротив, эта разница и имеет самое большое, решающее значение. Однако я даже тогда наткнулся на удивление или возмущение, когда говорил это не в ответ на возражения других, а еще до того как другие могли что-либо возразить.

Одновременно я спрашиваю себя, как начал спрашивать уже тогда: что, собственно, делать моему поколению потомков с информацией об ужасах уничтожения евреев? Нам не следует считать, что мы можем понять то, что является непонятным, нам нельзя сравнивать то, что не поддается сравнению, нам нельзя спрашивать, потому что спрашивающий, даже если он и не подвергает сомнению эти ужасы, все же делает их предметом разговора и не воспринимает как нечто, перед чем он с чувством трепета, стыда и собственной вины может только замолчать. Неужели нам следует молчать с чувством трепета, стыда и собственной вины? До каких пор? Не скажу, чтобы тот пыл пересмотра и просвещения, с которым я участвовал в работе семинара, во время судебного разбирательства у меня просто пропал. Но то, что кого-то из немногих осудят и накажут и то, что нам, новому поколению, придется молчать с чувством трепета, стыда и вины, — неужели только в этом и заключается вся цель?





На второй неделе был зачитан обвинительный протокол. Его чтение продолжалось полтора дня — полтора дня сухого перечисления. Подсудимая под номером один обвиняется по следующим пунктам... она совершила... она участвовала... она входила... далее ей вменяется... тем самым состав преступления отвечает параграфу такому-то, с учетом вышеизложенного и принимая во внимание... она действовала неправомерно и противозаконно. Ханна была подсудимой под номером четыре.

Пять женщин, сидевших на скамье подсудимых, были надзирательницами в небольшом женском лагере под Краковом, подчиненном Освенциму. Их перевели туда из Освенцима весной 1944 года для замены надзирательниц, частично погибших, частично раненых во время взрыва на лагерной фабрике, на которой работали женщины-заключенные. Один из пунктов обвинения касался их поведения в Освенциме, однако отступал на задний план перед другими обвинительными пунктами, и я уже его не помню. Может, он относился вовсе не к Ханне, а только к остальным четверем? Может, он был не таким уж важным по сравнению с другими пунктами обвинения или сам по себе? Может, просто нельзя было не обвинить того, кто выполнял те или иные служебные функции в Освенциме и кого теперь вывели на чистую воду?

Разумеется, пять обвиняемых женщин не руководили тем лагерем. Там был свой комендант, свое подразделение охраны, а также другие надзирательницы. Большинство солдат-охранников и надзирательниц погибло во время бомбежки, закончившей в одну из ночей передвижение колонны заключенных из лагеря на запад. Некоторые скрылись той же ночью и исчезли так же бесследно, как и комендант, который бежал еще до того, как колонна выдвинулась в путь.

По сути дела, никто из заключенных не должен был остаться в живых после той ночи бомбежки. Однако двоим все же удалось спастись, матери и дочери, и дочь написала книгу о лагере и том марше узников на запад и опубликовала ее в Америке. Полиция и прокуратура выяснила не только пятерых обвиняемых, но и разыскала нескольких свидетелей из деревни, на которую упали тогда бомбы, поставившие точку на марше лагерной колонны. Главными же свидетелями были дочь, приехавшая в Германию, и ее мать, оставшаяся в Израиле. Для допроса матери суд, прокуроры и защитники специально летали в Израиль — единственная часть процесса, на которой я не присутствовал.

Один из главных пунктов обвинения касался лагерных селекций. Каждый месяц из Освенцима в лагерь под Краковом доставляли примерно шестьдесят новых женщин и столько же надо было отправить обратно в Освенцим, за вычетом тех, кто за это время умер. Все знали, что женщин в Освенциме ждала смерть; туда отсылались те, кого нельзя было больше использовать для работы на фабрике. Это была фабрика по изготовлению боеприпасов, работа на которой сама по себе была не очень тяжелой, однако женщинам практически не приходилось заниматься ею, поскольку после взрыва весной, оставившего после себя большие разрушения, их задействовали, главным образом, на строительно-восстановительных работах.

Другой главный пункт обвинения касался той ночи, которой произошла бомбежка и которой все закончилось. Солдаты-охранники вместе с надзирательницами заперли всех женщин — их было в той колонне несколько сотен — в церкви деревни, покинутой большинством жителей. На деревню упало всего несколько бомб, предназначавшихся, быть может, для местной железной дороги или для близлежащего заводского комплекса или, быть может, сброшенных просто так, потому что они оставались лишними после налета бомбардировщиков на какой-нибудь город покрупнее. Одна бомба попала в дом пастора, в котором спали солдаты и надзирательницы. Другая угодила в церковную башню. Сначала загорелась башня, потом крыша, потом балки перекрытия, пылая, обрушились внутрь церкви и перебросили огонь на ряды стульев. Тяжелые двери выстояли перед ударами заключенных. Обвиняемые могли бы их открыть. Но они не сделали

этого, и запертые в церкви женщины сгорели заживо.

Для Ханны процесс оборачивался наихудшим образом. Уже во время своего первого допроса она произвела на суд не самое благоприятное впечатление. После зачитания обвинительного протокола она попросила слова, потому что что-то там показалось ей неточным; председательствующий судья, несколько озадаченный, указал ей на то, что перед началом судебного разбирательства у нее было достаточно времени изучить все пункты обвинения и предоставить по ним свои возражения, сейчас же, сказал он, процесс находится в своей главной фазе и что там в обвинении верно или неверно, покажет судебное следствие с привлечением вещественных доказательств. Когда к началу судебного следствия председатель предложил не зачитывать немецкий перевод книги дочери, поскольку эта книга еще до публикации ее немецким издательством была в виде печатного оригинала предоставлена для ознакомления всем участникам процесса, адвокату Ханны пришлось под недоуменным взглядом председателя уговаривать ее согласиться с этим предложением. Она не хотела. Она не хотела также признавать, что на одном из предыдущих допросов показала, что у нее был ключ от церкви. Нет, у нее не было никакого ключа, ни у кого не было ключа, там был вовсе не один ключ, а несколько, к нескольким дверям, и все они торчали снаружи в замках. Однако, судя по протоколу ее предварительного судебного допроса, прочитанному и подписанному ею, дело выглядело несколько иначе, и то, что она спрашивала, почему ей хотят что-то ложно приписать, ничуть не улучшало ситуации. Она спрашивала не громко, не своенравно, но настойчиво и при этом, как мне казалось, находилась в явном замешательстве и полной растерянности, и ее заявления на тот счет, что ей хотят что-то приписать, вовсе не подразумевались ею как упрек в вынесении ей несправедливого приговора. Но председательствующий судья расценивал их именно так и реагировал со всей строгостью. После одного из его замечаний адвокат Ханны вскочил и затараторил, горячо и рьяно, его спросили, не разделяет ли он случайно упрек своей подзащитной, и он снова сел на место.

Ханна хотела делать все как следует. Там, где она считала, что с ней поступают несправедливо, она возражала, и соглашалась там, где, по ее мнению, утверждения и обвинения в ее адрес были справедливыми. Она возражала со всей настойчивостью и соглашалась со всей готовностью, словно приобретая своими согласиями право на возражения или беря на себя своими возражениями обязанность соглашаться с тем, чего она не могла отрицать по своей честности. Однако она не замечала, что ее настойчивость злит председателя. У нее не было чувства контекста, правил, по которым велось действие, формул, по которым ее высказывания и высказывания других выводились в значения виновности или невиновности, приговора или оправдания. Для компенсации отсутствующего у нее чувства ситуации ее адвокату следовало бы иметь побольше опыта и уверенности или просто быть лучше. Или же Ханне не надо было затруднять ему работу; она, очевидно, не доверяла ему, но вместе с тем она не взяла себе адвоката своего доверия. Ее адвокат был назначен ей судом.

Иногда Ханна добивалась легкого подобия успеха. Мне вспоминается ее допрос, касавшийся селекций в лагере. Другие обвиняемые отрицали, что имели к ним когда-либо какое-либо отношение. Ханна же с готовностью показала, что участвовала в них, не одна, а точно так же, как и другие, и вместе с ними, и председательствующий судья стал задавать ей более конкретные вопросы:

— Как проходили эти селекции?

Ханна рассказала, что надзирательницы с самого начала договорились между собой, что будут предоставлять с шести вверенных им, одинаковых по размерам участков одинаковое количество заключенных, по десяти с каждого и шестьдесят общим счетом, что это количество, в зависимости от уровня заболеваемости на том или ином участке, могло быть, соответственно, выше или ниже, и что все дежурные надзирательницы в конечном итоге сообща определяли, кого им отправлять в Освенцим.

— И ни одна из вас не уклонялась от этого, вы принимали решение все вместе?

— Да.

— Вы знали, что посылаете заключенных на смерть?

— Знали. Но нам присылали новых, и старым надо было освобождать место для новых.

— Значит, потому, что вы хотели освободить место, вы говорили: ты, ты и ты — отправляйтесь обратно в Освенцим в газовую камеру?

Ханна не понимала, что хотел этим спросить председатель.

— Я... Я имею в виду... А что бы вы сделали?

Ханна задала этот вопрос со всей серьезностью. Она не знала, что она могла, что она должна была делать тогда по-другому, и поэтому хотела услышать от председателя суда, который, как казалось, знал все на свете, что бы он сделал на ее месте.

На мгновение в зале сделалось тихо. В немецком уголовном судопроизводстве не принято, чтобы обвиняемые задавали судьям вопросы. Но тут вопрос был задан, и все ждали от судьи ответа. Он должен был ответить, он не мог просто так обойти этот вопрос стороной, отбросить его с негодующим замечанием или заблокировать его встречным вопросом. Всем это было ясно, ему самому это было ясно, и я понял, почему он так часто прибегал к выражению замешательства на своем лице. Он сделал его своей маской. За ней он мог выиграть немного времени, чтобы найти подходящий ответ. Но лишь немного; чем дольше он тянул с ответом, тем сильнее становились напряжение и ожидание, тем лучше должен был быть ответ.

— Есть вещи, на которые просто нельзя соглашаться и от которых нужно отказываться, если за этот отказ, конечно, не приходится платить ценою собственной жизни.

Может, этого и хватило бы, если бы, сказав это, он конкретно переключился на Ханну или рассказал что-нибудь из своего собственного опыта. Слова о том, что надо делать и чего делать нельзя и сколько кому это может стоить, не отвечали серьезности вопроса Ханны. Она хотела знать, что ей следовало делать в ее ситуации, а не слушать нравоучения о том, что есть вещи, которых не делают. Ответ судьи прозвучал беспомощно, жалко. Все почувствовали это, отреагировали вздохом разочарования и с удивлением посмотрели на Ханну, которая в известной степени выиграла эту словесную дуэль. Но она сама все еще продолжала пребывать в своих раздумьях.

— Значит, я... значит, мне... значит, мне надо было с самого начала оставаться на фабрике?

Это уже был не вопрос к судье. Это было просто размышление вслух, она спрашивала сама себя, робко, неуверенно, потому что этого вопроса она себе еще не задавала и сомневалась в том, был ли это правильный вопрос и что могло быть на него ответом.

Так же, как упорство, с которым возражала Ханна, злило председателя суда, так же готовность, с которой она признавалась, злила других обвиняемых. Для их защиты, равно как и для ее собственной, эта готовность была фатальной.

В общем и целом доказательная сторона процесса была для обвиняемых благоприятной. В качестве доказательств по первому главному пункту обвинения использовались исключительно показания оставшихся в живых матери, ее дочери и написанная дочерью книга. Хорошая защита, не оспаривая сути показаний матери и дочери, могла бы довольно правдоподобно опровергнуть то, что именно эти, сидевшие здесь обвиняемые, проводили в лагере селекции. В этом отношении свидетельские показания были неточными и, собственно говоря, не могли быть точными; ведь в лагере был комендант, солдаты-охранники, другие надзирательницы и существовала разветвленная структура обязанностей и приказов, с которой заключенные сталкивались лишь частично и в которой они, соответственно, лишь частично могли разобраться. То же самое было и со вторым пунктом обвинения. Мать и дочь были заперты в церкви и не могли сказать ничего точного на тот счет, что происходило снаружи. Тут, правда, обвиняемым было бы трудно утверждать, что их там не было. Другие свидетели, жители деревни, которые не ушли тогда из нее, разговаривали с ними и помнили их. Но этим другим свидетелям, в свою очередь, тоже надо было быть осторожными, чтобы на них не пал упрек, что они сами могли спасти заключенных. Если там были только обвиняемые — разве не могли тогда жители деревни справиться с несколькими женщинами и сами открыть двери церкви? Не пришлось ли бы им в таком случае переметнуться на сторону защиты, отстаивающей позицию, по которой они, свидетели, действовали по одному общему с обвиняемыми принуждению? Скажем, под нажимом или приказом солдат охраны, которые к тому времени еще не разбежались или в отношении которых обвиняемые все-таки предполагали, что они покинули деревню лишь ненадолго, чтобы, например, доставить раненых в лазарет, и скоро вернутся?

Когда защитники других обвиняемых заметили, что такая стратегия разбивается о готовность Ханны во всем признаваться, они переключились на другую стратегию, использовавшую эту готовность в своих целях, накладывавшую все больше обличительного материала на Ханну и тем самым снимавшую его с других обвиняемых. Защитники делали это с профессиональной выдержкой. Их подзащитные поддерживали их возмущенными репликами в сторону Ханны.

— Вы сказали, что знали, что посылаете заключенных на смерть — это вы можете утверждать только о себе, не правда ли? Того, что знали ваши коллеги, вы знать не можете. Вы, пожалуй, можете это предполагать, но в конечном счете не утверждать с точностью, не так ли? — допрашивал Ханну адвокат одной из других обвиняемых.

— Но мы все знали...

— «Мы», «мы все» сказать проще, чем «я», «я одна», не так ли? Это правда, что только у вас, у вас одной в лагере были опекаемые вами заключенные, сплошь молодые девочки, на какое-то время одна и потом на какое-то время другая?

Ханна замялась.

— Я думаю, не только у меня одной...

— Лгунья бесстыжая! Это были твои любимицы — все твои, только твои!

Одна из обвиняемых, дородная женщина, не без медлительной важности гусыни и вместе с тем бойкая на язык, была не на шутку взволнована.

— Не может быть так, что вы говорите «знаю» там, где вы в лучшем случае можете полагать, и «полагаю» — там, где вы просто придумываете?

Адвокат покачал головой, будто с огорчением принимал к сведению утвердительный ответ Ханны.

— Это правда, что все ваши подопечные, как только они надоедали вам, отправлялись следующим этапом в Освенцим?

Ханна не отвечала.

— Это была ваша особая, ваша личная селекция, не правда ли? Вы не желаете больше признавать этого, вы хотите спрятать ее за чем-то, что делали все. Но...

— О боже!

Дочь, которая по окончании своего допроса заняла место в рядах с публикой, закрыла лицо руками.

— Как я могла это забыть?

Председатель спросил ее, не желает ли она дополнить свои показания. Она не стала ждать, пока ее вызовут вперед. Она встала и заговорила со своего места среди зрителей.

— Да, у нее были свои любимцы, всегда какая-нибудь слабая и хрупкая девочка-подросток, и она брала их под свою защиту и заботилась о том, чтобы их не использовали на лагерных работах, она давала им лучшие условия жилья и обеспечивала их лучшим пропитанием и по вечерам забирала их к себе. Этим девочкам было запрещено говорить о том, что она делала с ними вечером, и мы думали, что она с ними... ну, понимаете... в первую очередь потому, что все они потом отправлялись в Освенцим, так, словно она позабавилась с ними и они уже были ей больше не нужны. Но это было совсем не так, и однажды одна девочка все же заговорила, и мы узнали, что девочки читали ей вслух книги, вечер за вечером, без остановки. Это было лучше, чем... и также лучше, чем если бы они умерли от непосильных работ на стройке, должно быть, я думала тогда так, что это было лучше, иначе я не смогла бы этого забыть. Но было ли это лучше?

Она села.

Ханна обернулась и посмотрела на меня. Ее взгляд сразу нашел меня, и я понял, что она все это время знала, что я был здесь. Она просто смотрела на меня. Ее лицо ничего не просило, ничего не добивалось, ни в чем не заверяло и ничего не обещало. Оно предлагало себя. Я увидел, как напряжена и изнурена была Ханна. Под глазами у нее были темные круги, и через каждую ее щеку сверху донизу пролегал по одной незнакомой мне морщине, которые были еще неглубокими, но уже лежали на ней, словно шрамы. Когда я покраснел под ее взглядом, она отвела его и снова повернулась в сторону судей.

Председатель спросил адвоката, допрашивавшего Ханну, нет ли у него еще вопросов к обвиняемой. Потом он спросил о том же адвоката Ханны.

«Ну, задай ей этот вопрос», — пронеслось у меня в голове. — «Спроси ее, почему она выбирала слабых и хрупких девочек. Не потому ли, что они все равно бы не выдержали работ на стройке, не потому ли, что их все равно бы отправили следующим эшелонам в Освенцим, не потому ли, что она хотела облегчить им последние недели их жизни? Скажи это, Ханна. Скажи, что ты хотела облегчить им их последние недели, что это была причина, по которой ты выбирала слабых и хрупких, что никакой другой причины не было и быть не могло.»

Но адвокат не спросил Ханну, а сама она об этом говорить не стала.

Книга, написанная дочерью о времени, пережитом ей в концлагере, вышла в немецком переводе только после окончания процесса. Во время процесса печатный оригинал хоть и распространялся, но его могли получить только непосредственные участники процесса. Мне пришлось читать книгу на английском, что было для меня тогда непривычным и утомительным делом. И как это всегда бывает с иностранным языком, который ты плохо знаешь и с которым пытаешься бороться, он создавал особенное сочетание отстраненности и близости. Ты проработал книгу от корки до корки и все же не усвоил ее. Она остается такой же чужой, как остается чужим язык, на котором она написана.

Годами позже я перечитал эту книгу и обнаружил, что она сама создает ощущение отстраненности. Она не приглашает к опoznанию той или иной личности и не выделяет никого хоть в сколь-нибудь выгодном свете, ни мать, ни дочь, ни тех, с кем они делили свою судьбу сначала в разных лагерях и потом в Освенциме и под Краковом. Книга не дает приобрести фигурам старост бараков, надзирательниц и солдат-охранников достаточно краски и формы, чтобы можно было почувствовать к ним какое-либо отношение, поставить их в своей градации на ту или иную ступень. Книга дышит оцепенением, которое я уже пытался описать выше. Однако способность регистрировать и анализировать дочь под влиянием этого оцепенения не потеряла. И она не дала подкупить себя, ни жалости к самой себе, ни самоуверенности, которую она ощутимо черпала из того обстоятельства, что ей удалось выжить и что она не только перенесла годы лагерей, но и облекла их позже в литературную форму. Она пишет о себе и о своем поведении девочки-подростка, о своей не по годам развитой и порой даже плутоватой натуре с той же трезвостью, с которой описывает и все остальное.

Ханну нельзя опознать в книге ни по имени, ни по каким-либо другим приметам и признакам. Иногда мне казалось, что я узнавал ее в фигуре одной надзирательницы, которая была представлена как молодая, красивая, статная женщина, отличавшаяся в выполнении своих задач «бессовестной добросовестностью», но я не был уверен. Когда я смотрел на других женщин-обвиняемых, я приходил к выводу, что только Ханна могла быть той описываемой в книге надзирательницей. Но ведь там были и другие. Дочь, например, пишет, что в одном из лагерей у них была надзирательница, которую она прозвала «кобылой» — тоже молодая, красивая и рьяная, но очень жестокая и несдержанная. Она, действительно, напоминала необузданную кобылу. Может, другие тоже провели такое сравнение? Может, Ханна знала об этом, помнила это и поэтому была недовольна, когда я сравнил ее с лошадкой?

Лагерь под Краковом был для матери и дочери последней остановкой на пути в Освенцим. Он принес им облегчение; работа была не такой тяжелой, как в других лагерях, еда была получше и куда лучше было спать вшестером в одной комнате, чем целой сотней в бараке. К тому же здесь было теплее; женщины могли на обратном пути из фабрики собирать дрова и брать их с собой в лагерь. Страх перед селекциями был и здесь, но он был не таким сильным, как в Освенциме. Ежемесячно из лагеря увозили шестьдесят женщин, шестьдесят из тысячи двухсот; в такой ситуации даже тогда можно было рассчитывать продержаться двадцать месяцев, когда в тебе оставалось уже не так много сил, и как-никак всегда можно было надеяться, что из слабосильных ты окажешься не самым слабым. Помимо того, поддержкой служила и надежда, что война закончится быстрее, чем через двадцать месяцев.

Бедствия начались с ликвидацией лагеря и выдвиганием заключенных на запад. Стояла зима, шел снег, и одежда, в которой женщины мерзли на фабрике и потом еле отогревались в лагере, никак не подходила для такого похода, и еще более неподходящей была обувь, зачастую состоявшая из одних только тряпок и кусков газетной бумаги, свернутых и обмотанных так, что при стоянии и ходьбе они еще держались на ногах, но которые нельзя было свернуть так, чтобы они могли выдержать долгий марш по снегу и льду. К тому же женщины совершали не просто



марш — их подгоняли, им приходилось бежать. «Марш смерти?» — спрашивает дочь в своей книге и отвечает: «Нет, рысца смерти, галоп смерти». Одни падали по пути совершенно обессиленные, другие не поднимались больше после ночи, проведенной в каком-нибудь сарае или просто у какой-нибудь стены. Через неделю в живых осталось меньше половины всех женщин.

Церковь была лучшим пристанищем, чем сарай и стены. Когда они проходили мимо покинутых крестьянских дворов и сворачивали в них на ночлег, то солдаты и надзирательницы останавливались в хозяйском доме. Здесь, в этой почти опустевшей деревне они расположились в доме пастора, а заключенным предоставили все же кое-что получше, чем просто сарай или стена. То, что они сделали это, и то, что в деревне нашелся даже горячий бульон, показалось изможденным женщинам обещанием окончания всех страданий. С тем они и уснули. Чуть позже полетели бомбы. Пока горела только башня, огонь в церкви был слышен, но не виден. Когда верхушка башни обломилась и упала на стропила чердака, то прошло еще несколько минут, прежде чем показалось мерцание огня. И потом уже вниз, поджигая одежду, посыпались огненные искры, стали ломаться и рушиться горящие балки, перекидывая огонь на стулья и кафедру, через короткое время перекрытие чердака с грохотом повалилось в неф и пожар был уже повсюду.

Дочь считает, что женщины могли бы спастись, если бы они сразу все сообща принялись выламывать одну из дверей. Но пока они поняли, что произошло, пока они осознали, что еще произойдет и заметили, что им так и не открыли дверей, было уже поздно. Когда их разбудил разрыв бомбы, стояла глубокая ночь. Некоторое время женщины слышали только странный, тревожно шелестящий шум в башне наверху и лежали совсем тихо, чтобы как следует вслушаться в этот шум и определить, что же это такое. То, что это была трескучая поступь огня, то, что это были огненные всполохи, озарявшие время от времени тьму за окнами, то, что удар, который они слышали у себя над головами, означал переход огня с башни на крышу, — это женщины поняли только тогда, когда балки крыши стали заметно прогорать. Они все поняли и закричали, закричали от ужаса, закричали, зовя на помощь, бросились к дверям, стали бить по ним кулаками, расшатывать их, молить, чтобы их выпустили.

Когда чердачное перекрытие рухнуло в неф, огонь, оберегаемый каменными стенами церкви, разгорался, словно внутри камина. Большинство женщин не задохнулось от дыма, а сгорело в ярко и громко полыхающем пламени пожара. Под конец огонь прожег, прокалил насквозь даже толстые, обитые железом двери церкви. Но это было несколькими часами позже.

Мать и дочь остались в живых потому, что мать по ложным соображениям поступила правильно. Когда женщины ударились в панику, она не могла больше находиться среди них. Она бежала наверх, на хоры. То, что пламя там было ближе, ее в ту минуту не волновало, она просто хотела быть подальше от кричавших, бегавших туда-сюда, горевших женщин. Хоры были узкими, такими узкими, что оказались почти незадетыми падающими балками. Мать и дочь стояли, прижавшись к стене, видя и слыша, как свирепствует пожар. На утро они не отважились спуститься вниз и выйти наружу. В темноте следующей ночи они боялись сделать неверный шаг, чтобы не оступиться, сходя вниз. Когда на рассвете второго дня они вышли из церкви, они встретились с несколькими жителями деревни, которые безмолвно и ошалело таращились на них, однако дали им еду и одежду и отпустили их с миром.

— Почему вы не открыли двери?

Председательствующий судья задавал этот вопрос каждой из обвиняемых по очереди. И каждая из обвиняемых давала один и тот же ответ. Она не могла открыть. Почему? Ее ранило, когда бомба попала в дом пастора. Или она находилась в шоке от взрыва бомбы. Или после взрыва бомбы она помогала раненым солдатам и другим надзирательницам, вытаскивала их из-под обломков, перевязывала, оказывала необходимую медицинскую помощь. Она не подумала о церкви, не находилась в этот момент рядом, не видела пожара в церкви и не слышала из нее криков.

Председатель предъявлял каждой обвиняемой по очереди одно и то же возражение: в рапорте, однако, можно прочесть кое-что совсем другое. Такая осторожная формулировка была выбрана им нарочно. Сказать, что в рапорте, найденном в архивах СС, было написано другое, было бы неправильным. Но то, что в нем можно было прочесть другое, это было правильным. Рапорт поименно называл тех, кто был убит и кто был ранен в доме пастора, кто повез раненых на грузовике в лазарет и кто сопровождал этот грузовик. В рапорте говорилось, что надзирательницы остались в деревне, чтобы переждать, пока огонь не уляжется, чтобы предотвратить его распространение и пресечь попытки заключенных к бегству, возможные под защитой пожаров. В рапорте говорилось о гибели заключенных.

То, что имен обвиняемых не было среди имен, перечисленных в рапорте, говорило о том, что обвиняемые находились в числе надзирательниц, оставшихся в деревне. То, что надзирательницы остались в деревне, чтобы пресекать попытки к бегству, говорило о том, что с выносом раненых из дома пастора и отъездом грузовика в лазарет еще не все закончилось. Оставшиеся надзирательницы — так можно было прочесть в рапорте — дали спокойно полыхать пожару в церкви и не отперли ее дверей. Среди оставшихся надзирательниц — так можно было прочесть в рапорте — находились и обвиняемые.

Нет, говорила одна обвиняемая за другой, это было не так. Этот рапорт неверен. Это видно, например, уже по той задаче, которая, как указано в нем, была поставлена перед оставшимися в деревне надзирательницами: предотвратить распространение пожаров. Разве в состоянии они были выполнить такую задачу? Чепуха какая-то. Равно как и другая задача: пресекать попытки к бегству, возможные под защитой пожаров. Чушь. Какие попытки к бегству? К тому времени, когда они оказали всю необходимую помощь своим, и теоретически могли бы помочь другим, то есть заключенным, там уже некому было бежать. Нет-нет, в рапорте ни единым словом не говорится о том, что им пришлось проделать и выстрадать той ночью. Откуда мог взяться такой странный рапорт? Они и сами не знают.

Пока очередь не дошла до бойкой на язык гусыни:

— А вы спросите вот эту!

Она показала пальцем на Ханну.

— Это она написала рапорт. Она во всем виновата, она одна, и своим рапортом она хотела прикрыть это и еще и нас очернить.

Председатель спросил Ханну. Но это было в конце. Сначала же он спросил:

— Почему вы не открыли двери?

— Мы... Мы были...

Ханна искала правильный ответ.

— Мы не знали, что нам еще оставалось делать в той ситуации.

— Вы не знали, что вам оставалось делать в той ситуации?

— Несколько из нас убило, а другие удрали. Они сказали, что отвезут раненых в лазарет и вернутся обратно, но они знали, что не вернутся, и мы тоже это знали. Может быть, они поехали вовсе не в лазарет, раненые были не в таком уж плохом состоянии. Мы бы тоже поехали с ними, но они сказали, что раненым нужно место, и потом... и потом они все равно не хотели тащить за собой столько женщин. Я не знаю, куда они поехали.

— И что вы делали дальше?

— Мы не знали, что нам делать. Все было так быстро, дом пастора горел и башня на церкви, и солдаты с машинами только что были здесь, и теперь их уже не было, и мы вдруг оказались одни, наедине с женщинами в церкви. Нам оставили какое-то оружие, но мы не умели с ним обращаться, и даже если бы мы умели, что бы нам это дало, нам, какой-то горстке? Как мы должны были охранять такую колонну? Она растягивается далеко, такая колонна, даже если ее постоянно сгонять, и для охраны на таком длинном участке, тут нужно куда больше охранников, чем наша кучка.

Ханна сделала паузу.

— Потом начались крики и они становились все сильнее. Если бы мы открыли двери и все бы выбежали...

Председатель выждал несколько секунд.

— Вы боялись? Вы боялись, что женщины-заключенные нападут на вас?

— Что они нап... нет, но как бы мы могли опять навести среди них порядок? Там бы поднялась такая суматоха, с которой бы мы вовек не справились. А если бы они еще попытались бежать...

Председатель снова подождал, но Ханна не договорила.

— Вы боялись, что вас, в случае побега заключенных, арестуют и приговорят к расстрелу?

— Мы просто не могли дать им убежать! Мы же отвечали за них... Я имею в виду, мы же все это время охраняли их, в лагере и потом в колонне, в этом ведь был смысл — мы охраняем, чтобы они не убежали. Поэтому мы не знали, что нам делать. Мы также не знали, сколько женщин доживет до следующего дня. Столько уже умерло, а те, которые еще были живы, были совсем, совсем слабыми...

Ханна заметила, что тем, что она говорит, она не очень-то себе помогает. Но она не могла говорить ничего другого. Она могла только пытаться говорить то, что она уже сказала, лучше, пытаться объяснить лучше и описывать лучше. Но чем больше она говорила, тем хуже выглядела ее ситуация. Не зная, как ей быть, она опять обратилась к председателю:

— А вы бы как поступили?

Но на этот раз она сама знала, что не получит от него ответа. Она и не ждала ответа. Никто его не ждал. Председатель молча качал головой.

Если вдуматься, то ситуация растерянности и беспомощности, описанная Ханной, не была такой уж трудной для представления. Ночь, холод, снег, огонь, крики женщин в церкви, исчезновение тех, кто до этого отдавал надзирательницам приказания и сопровождал их — разве это была простая ситуация? Но могло ли это понимание сложности ситуации поставить в какое-либо количественное соотношение весь ужас того, что сделали или в данном случае также не сделали

обвиняемые? Как будто речь шла об автомобильной аварии с телесными повреждениями и полным выходом машины из строя, происшедшей на пустынной дороге холодной зимней ночью, когда не знаешь, что тебе делать? Или о конфликте между двумя чувствами долга, и то и другое из которых требует от тебя твоего участия? Да, так можно было представить себе то, что описывала Ханна, но суд не хотел этого делать.

— Скажите, это вы написали рапорт?

— Мы вместе обдумывали, что нам писать. Мы не хотели ничего наговаривать на тех, кто удрал. Но мы также не хотели, чтобы и на нас падала какая-то тень.

— Значит, вы говорите, что думали вместе. Кто же писал?

— Ты!

Другая обвиняемая опять ткнула пальцем в сторону Ханны.

— Нет, я не писала. Разве это так важно, кто писал?

Один из прокуроров предложил с помощью экспертизы сравнить почерк рапорта и почерк обвиняемой Шмитц.

— Мой почерк? Вы хотите взять...

Председательствующий судья, прокурор и адвокат Ханны вступили в дискуссию по поводу того, сохраняет ли почерк свою идентичность на протяжении более чем пятнадцатилетнего отрезка времени и можно ли ее теперь с точностью установить. Ханна слушала их и несколько раз пыталась что-то сказать или спросить, и приходила во все большее беспокойство. Потом она сказала:

— Не нужно никакой экспертизы. Я признаюсь в том, что это я написала рапорт.

От семинаров, проводившихся по пятницам, в моей памяти ничего не осталось. Даже если я хорошо вспоминаю весь ход процесса, мне не приходит на ум, какие научные разработки мы вели на тех семинарах. О чем мы говорили? Что мы хотели узнать? Чему нас учил профессор?

Однако я помню воскресенья. После дней, проведенных в суде, во мне просыпалась новая для меня жажда ощущения красок и запахов природы. По пятницам и субботам я дорабатывал то, что пропускал в университете за предыдущие дни, дорабатывал по крайней мере до такой степени, что не отставал на занятиях от остальных и справлялся с программой семестра. По воскресеньям я отправлялся на прогулки.

Хейлигенберг, базилика Св. Михаэля, башня Бисмарка, Философская улица, берег реки — от воскресенья к воскресенью я лишь незначительно менял свой маршрут. Я находил достаточно разнообразия в том, что мог видеть: зелень, становившуюся каждую неделю все более пышной, и Рейнскую равнину, лежавшую то в мареве жары, то за дождевой вуалью, то под грозowymi облаками, и мог вдыхать в лесу запах цветов и ягод, когда на нее светило солнце, и запах земли и прелых прошлогодних листьев, когда на нее падал дождь. Мне вообще не надо много разнообразия и я его не ищу. Следующее путешествие чуть дальше, чем предыдущее, очередной отпуск в месте, которое я открыл во время последнего отпуска и которое мне понравилось — этого мне достаточно. Одно время я думал, что мне следует быть посмелее, и заставлял себя ездить в Египет, Бразилию и на Цейлон, пока не начал опять ближе знакомиться с уже знакомыми мне местами. В них я вижу больше.

Я снова нашел в лесу то место, где мне открылась тайна Ханны. В этом месте нет и тогда не было ничего особенного, никакого причудливо растущего дерева или каменной глыбы, никакой необычной панорамы, открывающейся на город или равнину, ничего, что могло бы располагать к неожиданным ассоциациям. Когда я размышлял о Ханне, неделя за неделей, кружа в одном и том же потоке мыслей, одна из них отделилась, пошла по своему собственному пути и в конце концов преподнесла мне свой результат. Она сделала это вполне обыденно — результат мог явиться мне где угодно или, во всяком случае, везде там, где знакомое окружение и привычная обстановка позволяют воспринимать и предполагать то неожиданное, что набрасывается на тебя не снаружи, а растет у тебя изнутри. Так это случилось со мной по дороге, резко поднимающейся в гору, пересекающей шоссе, проходящей мимо колодца и пролегающей сначала под старыми, высокими, темными деревьями и ведущей затем через редкий кустарник.

Ханна не умела читать и писать.

Поэтому она просила других читать ей вслух. Поэтому она давала мне читать и заполнять все во время нашего путешествия на велосипедах и была так разгневана в то утро в гостинице, когда нашла мою записку, понимала, что я буду ждать от нее, что она прочтет ее, и боялась разоблачения. Поэтому она уклонилась от дальнейшей учебы в трамвайном парке; ее недостаток, который она могла скрывать, работая кондуктором, при обучении на вагоновожатую явно вышел бы наружу. Поэтому она пренебрегла новой должностью на фабрике и пошла в лагерные надзирательницы. Поэтому она, во избежание столкновения с экспертом, призналась, что написала рапорт. Неужели именно поэтому она наговорила на себя столько в зале суда? Потому что не могла прочитать ни книги дочери, ни обвинительного протокола, не могла разглядеть шансов своей защиты и соответствующим образом подготовиться? Неужели именно поэтому она отправляла тех девочек в Освенцим? Чтобы, если они что-то заметили, навсегда заставить их замолчать? И неужели именно поэтому она брала под свою опеку самых слабых?

Поэтому? То, что ей было стыдно показывать, что она не умеет читать и писать, и

то, что озадачивать меня было для нее более удобной возможностью, чем выдавать себя, это я мог понять. Стыд как причина уклончивого, защитного, скрытного, притворного и даже оскорбительного поведения был знаком и мне. Но стыд Ханны от того, что она не умеет читать и писать, как причина ее поведения на суде и в лагере? Она разоблачала себя как преступница, боясь, что ее разоблачат как неграмотную? Она становилась преступницей, боясь, что ее разоблачат как неграмотную?

Сколько раз я тогда и с тех пор задавался одинаковыми вопросами. Если мотивом поступков Ханны была боязнь разоблачения — почему тогда вместо безболезненного разоблачения себя как неграмотная она выбрала невыносимое разоблачение себя как преступница? Или она считала, что и дальше у нее получится жить безо всякого разоблачения? Неужели она была столь недалекой? И неужели она была такой самонадеянной и злой по натуре, что могла стать преступницей, чтобы только не выдавать своей неграмотности? В то время и позже я снова и снова отбрасывал эти мысли. Нет, говорил я себе, Ханна не выбирала преступление. Она не хотела занимать более высокую должность на фабрике и стала надзирательницей совершенно случайно. И она не отправляла слабых и немощных в Освенцим потому, что они читали ей вслух, она брала их для чтения потому, что хотела облегчить им последние недели их жизни, прежде чем их все равно отправят в Освенцим. И на суде Ханна не вымеряла разницу между разоблачением себя как неграмотная и разоблачением себя как преступница. Она не подсчитывала и не выгадывала. Она была согласна с тем, что ее привлекали к ответу, просто не хотела к тому же еще оказаться разоблаченной в своем недостатке. Она нигде не искала своих интересов, а боролась за свою правду, за свою справедливость. И от того, что ей всегда приходилось немного притворяться, от того, что она никогда не могла быть до конца искренней, никогда не могла быть полностью самой собой — это были жалкая правда и жалкая справедливость, но это были ее правда и ее справедливость, и борьба за них была ее борьбой.

Могу представить, что она находилась на грани полного изнеможения. Она боролась не только на суде. Она боролась всю свою жизнь, не для того, чтобы показать, что она может, но для того, чтобы скрыть, чего она не может. Ее жизнь была жизнью, в которой продвижение вперед заключалось в энергичных отступлениях, а победы — в скрытых поражениях.

Станным образом трогало меня несоответствие между тем, что должно было быть на душе у Ханны, когда она уезжала из моего города, и тем, что я тогда представлял и разрисовывал себе. Я был уверен, что, предав ее и отрекшись от нее, я тем самым прогнал ее из города, а фактически она просто хотела избежать разоблачения своей неграмотности при дальнейшем обучении в трамвайном парке. Правда, то обстоятельство, что я все-таки не прогнал ее, ничего не меняло в том, что я ее предал. То есть вина моя оставалась прежней. И если я был не виновен в том плане, что предательство по отношению к преступнице не может наложить на человека вины, то был виновен потому, что любил преступницу.

После того как Ханна призналась, что это она написала рапорт, другим обвиняемым легли все карты в руки. Ханна, мол, там, где она действовала не одна, притесняла и принуждала других, угрожала им. Она полностью взяла на себя все командование. Распоряжалась, что надо было делать и что писать. Принимала все решения.

Жители деревни, дававшие показания в качестве свидетелей, не могли этого ни подтвердить, ни опровергнуть. Они видели, что горящая церковь охраняется несколькими женщинами в форме, которые не пытаются ее открыть, и поэтому сами не решились открыть ее. Они встретили этих женщин на следующее утро, когда те собирались выходить из деревни, и узнают их снова в сидящих перед ними обвиняемых. Но какая из обвиняемых во время той утренней встречи задавала тон, и задавала ли какая-нибудь из обвиняемых его вообще, они сказать не могли.

— Но вы не можете исключить, что вот эта женщина, — адвокат одной из других обвиняемых показал на Ханну, — принимала решения?

Нет, исключить этого они не могли, да и как, собственно, и при виде других обвиняемых, которые были явно старше, производили более усталое, пугливое и понурое впечатление, они этого вовсе не хотели. По сравнению с остальными обвиняемыми Ханна смотрелась по-командирски. К тому же наличие командира снимало подозрения с жителей деревни: не прийти на помощь, противостоя подразделению, руководимому четкими командами, было куда лучше, чем не прийти на помощь, имея перед собой группу сбитых с толку, растерянных женщин.

Ханна боролась дальше. Она соглашалась с тем, что соответствовало действительности, и оспаривала то, что не соответствовало действительности. Она возражала с горячностью, которая становилась все более отчаянной. Ханна не повышала голоса, но уже та интенсивность, с которой она говорила, неприятно действовала на суд.

В конце концов она сдалась. Она говорила только тогда, когда ее спрашивали, она отвечала коротко, сухо, иногда рассеянно. Словно в знак того, что она сдалась, она больше не вставала, когда говорила. Председательствующий судья, который в самом начале процесса неоднократно указывал ей на то, что, давая показания, она может оставаться сидеть, сейчас принимал это к сведению с неприязненной миной. Порой, ближе к концу процесса, у меня складывалось впечатление, что суду все это дело надоело, что он хочет, наконец, поскорей покончить с ним, и уже отошел от него, снова вернувшись в настоящее после долгих недель в прошлом.

С меня тоже было достаточно. Но я не мог просто так выкинуть это дело из головы. Для меня разбирательство не заканчивалось, а только начиналось. Я был зрителем и вдруг стал участником, игроком в одной общей игре и арбитром, от которого зависит общее решение. Я не искал и не выбирал для себя этой новой роли, но я исполнял ее сейчас, хотел я этого или нет, делал я что-нибудь или вел себя совершенно пассивно.

А сделать можно было только одно. Я мог пойти к председательствующему судье и сказать ему, что Ханна была неграмотной. Что она не была главным действующим лицом той страшной ночи и не на ней лежала главная вина, которую взваливали на нее другие. Что ее поведение на суде не свидетельствовало о какой-то ее чрезмерной твердолобости, неуступчивости или дерзости, а было результатом недостаточного знания ею обвинения и содержания книги и, пожалуй, исходило также из отсутствия у нее всякой стратегической и тактической линии. Что она была очень ограничена в своей защите. Что да, она была виновна, но не настолько, как это представлялось суду.

Может быть, мне не удастся переубедить судью. Но я заставляю его задуматься и по-иному отнестись к этому делу. В итоге выяснится, что я был прав, и Ханну хотя

и накажут, но наказание будет не таким сильным. Хотя ей и придется сесть в тюрьму, но она раньше выйдет из нее, раньше будет свободной — разве это было не то, за что она боролась?

Да, она боролась за это, но не была готова платить за удачный исход дела ценой разоблачения своей неграмотности. Ей бы также не понравилось, если бы я стал продавать ее тайну за освобождение от нескольких лет тюрьмы. Она сама могла осуществить такую сделку, она не пошла на нее, значит, она не хотела ее. Ее тайна стоила для нее тюремного заключения.

Но стоила ли она этого на самом деле? Что давало ей ее лживое представление себя окружающим, стеснявшее и сковывавшее ее, не позволявшее ей развиваться дальше? С той энергией, с которой она поддерживала ложь своей жизни, она давно могла бы научиться читать и писать.

В то время я пробовал поделиться этой проблемой со своими друзьями. Представь себе, говорил я, кто-то губит сам себя, намеренно, и ты можешь его спасти — ты спасешь его? Представь себе, например, что одному пациенту должны сделать операцию, а он принимает наркотические препараты, которые противопоказаны при анестезии, ему стыдно признаваться, что он принимает эти препараты, и он не хочет говорить об этом анестезиологу — ты тогда поговоришь с анестезиологом? Или, придумывал я другой пример, представь себе судебное разбирательство и подсудимого, которого приговорят к длительному тюремному заключению, если он не раскроется, что он левша и что, будучи левшой, не может иметь никакого отношения к преступлению, совершенному правой рукой, но подсудимому стыдно признаваться, что он левша — ты тогда скажешь судье, в чем тут дело? Или представь себе, что он гомосексуалист, и не мог совершить преступления, будучи гомосексуалистом, но ему стыдно признаваться в том, что он гомосексуалист. Здесь совсем не важно, должно ли быть человеку стыдно от того, что он левша или гомосексуалист — представь себе просто, что подсудимому стыдно.



Я решил поговорить со своим отцом. Не потому, что мы были так близки друг другу. Мой отец был замкнутым человеком, он не мог передать нам, детям, своих чувств, равно как не знал, что ему делать с теми чувствами, которые раскрывали перед ним мы. Долгое время я предполагал, что за его необщительным поведением скрывается богатство неподнятых на поверхность сокровищ. Но позднее я стал сомневаться, что там вообще что-то было. Может быть, в детстве и юношестве он и был богат на чувства, но с годами, не давая своим чувствам выхода, он довел их до того, что они в нем засохли и умерли.

Однако именно из-за этого расстояния, разделявшего нас, я и искал разговора с ним. Я хотел поговорить с философом, писавшим работы о Канте и Гегеле, о которых я, в свою очередь, знал, что они занимались вопросами морали. К тому же мой отец должен был быть в состоянии разобрать мою проблему абстрактно, не цепляясь, как мои друзья, за недостаточность деталей в примерах.

Когда мы, дети, хотели говорить с нашим отцом, он назначал нам время, как своим студентам. Он работал дома и ходил в университет только для чтения лекций и проведения семинаров. Его коллеги и студенты, которым нужно было поговорить с ним, приходили к нам домой. Я помню ряды студентов, стоявших у нас в коридоре прислонившись к стене и ожидавших своей очереди, одни при этом читали, другие рассматривали фотографии с видами города, которые висели в коридоре, третьи просто смотрели в пустоту, и все молчали, лишь смущенно приветствуя нас, когда мы, дети, здороваясь проходили мимо. Нам самим не надо было ждать в прихожей, когда мы в назначенное время являлись на разговор с отцом. Но и мы, как полагается, стучали в дверь его кабинета и получали приглашение войти.

В свое время я побывал в двух кабинетах отца. Окна первого, в котором Ханна задумчиво водила пальцем по книгам, выходили на улицу и соседние дома. Окна второго выходили на Рейнскую равнину. Дом, в который мы въехали в начале шестидесятых годов и в котором мои родители остались жить, когда мы, дети, выросли, стоял над городом на косогоре. Как в первом, так и во втором кабинете окна не расширяли помещение за счет мира снаружи, а вешали его на стены внутрь, точно картины. Кабинет моего отца был пространством, в котором книги, бумаги, мысли и дым от трубки и сигар создавали свое собственное, отличное от внешнего мира, атмосферное давление. Оно было мне одновременно и близким и чужим.

Отец выслушал мою проблему, представленную мной сначала абстрактно и уточненную потом рядом примеров.

— Это как-то связано с процессом, да? — спросил он и, покачав головой, дал мне понять, что не ждет от меня ответа, не собирается допытываться от меня большего, не хочет знать ничего сверх того, что я сам готов был рассказать ему.

Потом он сидел, склонив голову набок, обхватив руками подлокотники кресла, и размышлял. Он не смотрел на меня при этом. Я же разглядывал его, его седые волосы, его как всегда плохо выбритые щеки, его резко очерченные морщины, пролегли между глазами и шедшие от крыльев носа к уголкам рта. Я ждал.

Когда он снова заговорил, он начал издали. Он стал излагать мне свои мысли о личности, свободе и достоинстве, о человеке как субъекте и о том, что его нельзя делать объектом.

— Помнишь, как, будучи совсем маленьким, ты нередко злился, когда мама лучше тебя знала, что тебе можно, а что нет? Уже то, насколько далеко позволено заходить в этом плане с детьми, является настоящей проблемой. Это проблема философского характера, но философии нет дела до детей. Она отдала их на попечение педагогики, где они плохо устроены. Философия забыла детей, — улыбнулся он мне, — забыла навсегда, а не только на время, как я вас.

— Но...

— Но, что касается взрослых — тут я решительно не вижу никакого оправдания тем случаям, когда одни люди ставят то, что они считают подходящим для других, выше того, что эти другие считают подходящим сами для себя.

— Даже тогда, когда другие были бы позже только рады этому?

Отец покачал головой.

— Речь здесь идет не о радости, а о достоинстве и свободе. Уже малышом ты ощущал эту разницу. Тебе было совсем не по нутру, что мама всегда была права.

Сегодня я с любовью вспоминаю тот наш разговор. Я забыл его и он всплыл в моей памяти только после смерти отца, когда я стал выискивать в осадке своих воспоминаний добрые встречи, события и переживания, связанные с ним. Когда я поднял этот разговор на поверхность, я перебирал его детали с удивленным и радостным чувством. Разговаривая же тогда с отцом, я был поначалу озадачен смесью абстракции и наглядности, которую он преподносил мне. Но в конечном итоге я вывел из сказанного им, что мне не следует идти к судье, что мне вообще нельзя говорить с ним, и от этого у меня на душе полегчало. Отец заметил это.

— Что, в таком виде философия тебе нравится больше?

— Ну... Просто я не знал, нужно ли в ситуации, которую я описал, что-то предпринимать, и, по сути дела, был не очень-то рад перспективе предпринимать что-нибудь, а если, как выходит, предпринимать тут вообще ничего нельзя, то это...

Я не знал, что сказать. То это, что — снимает у меня камень с плеч? Успокаивает меня? Каким-то приятным образом на меня действует? Во всем этом не чувствовалось морали и ответственности. «Это мне нравится» — говорило о морали и ответственности, но я не мог сказать, что предложенное решение мне просто нравилось, что оно давало мне больше, чем только снимало камень с моих плеч.

— Это тебе приятно? — предложил отец.

Я кивнул головой и пожал плечами.

— Нет, в целом у твоей проблемы нет приятного решения. Конечно, приходится действовать, когда описанная тобой ситуация является ситуацией возросшей или принятой на себя ответственности. Если ты знаешь, что действительно будет на пользу другому, а он закрывает на это глаза, то нужно попытаться раскрыть их ему. Нужно оставить за ним последнее слово, но нужно поговорить с ним, именно с ним, а не с кем-нибудь другим за его спиной.

Поговорить с Ханной? Что я должен был сказать ей? Что я раскрыл ложь ее жизни? Что она собиралась принести всю свою жизнь в жертву этой бестолковой лжи? Что ложь не стоила жертвы? Что она должна бороться за то, чтобы не сесть в тюрьму на длительный срок, чтобы потом у нее еще оставалось время многое успеть в своей жизни? А что, собственно, успеть? Много или мало — что она должна была делать со своей жизнью? Мог ли я забрать у нее ее ложь, не открывая перед ней какой-нибудь жизненной перспективы? Я не знал ни одной сколь-нибудь длительной, и я также не знал, как мне подойти к Ханне и сказать ей, что все-таки будет правильно, если после всего совершенного ею ее жизненной перспективой на какое-то время станет тюрьма. Я не знал, как я должен был подойти к ней и сказать ей что-нибудь. Я вообще не знал, как мне приблизиться к ней.

Я спросил отца:

— А что, если с этим другим поговорить нельзя?

Он с сомнением посмотрел на меня, и я сам понял, что мой вопрос был из разряда второстепенных. Заниматься моральными изысканиями было уже ни к чему. Я

должен был решаться.

— Я не смог помочь тебе.

Отец встал и я вслед за ним тоже.

— Нет-нет, это не значит, что тебе пора уходить. Просто у меня ноет спина.

Он стоял, слегка согнувшись, приложив руки к почкам.

— Не могу сказать, что мне жаль, что я не в силах помочь тебе. Я имею в виду, помочь как философ, которого ты и спрашивал. Как отец, однако, я нахожу ощущение, что не могу помочь своим детям, почти невыносимым.

Я ждал, но он продолжал молчать. Я считал, что он упрощает свою роль; я знал, когда ему надо было больше думать о нас и как он мог больше помочь нам. Потом я подумал, что он, наверное, сам об этом знает и в самом деле из-за этого мучается. Но так или иначе я ничего не мог ему сказать. Мне стало неловко и у меня было такое чувство, что ему тоже было неловко.

— Ну, тогда...

— Я всегда рад видеть тебя.

Отец взглянул на меня.

Я ему не поверил и кивнул.

В июне суд на две недели летал в Израиль. Тамашний допрос был делом двух-трех дней, но судьи и прокуроры соединили юридическую сторону с туристической, включив в свою программу осмотр Иерусалима и Тель-Авива, выезд в пустыню Негев и к Красному морю. Не сомневаюсь, что в служебном, развлекательном и финансовом плане это не нарушало никаких норм. Но все равно такое сочетание показалось мне чересчур контрастным.

Я планировал во время этих двух недель полностью посвятить себя учебе. Но все шло не так, как я себе представлял. Я не мог сосредоточиться на учебном материале, на профессорах и на книгах. Мои мысли то и дело уходили в сторону и терялись в картинах, рисуемых воображением.

Я видел Ханну у пылающей церкви, в черной форме, с суровым выражением на лице и с хлыстом в руке. Им она чертит на снегу какие-то узоры и похлопывает себя по голенищу сапога. Я видел ее, когда ей читали вслух книги. Она внимательно слушает, не задает никаких вопросов и не делает никаких замечаний. Когда время чтения истекает, она говорит читавшей, что завтра та будет отправлена в Освенцим. Девочка, хрупкое создание с черным ежиком волос и близорукими глазами, начинает плакать. Ханна стучит ладонью по стене, и на ее стук входят две женщины, тоже заключенные в полосатой одежде, и вытягивают читавшую вон. Я видел, как Ханна расхаживает по лагерю, заходит в бараки и наблюдает за заключенными во время строительных работ. Она делает это все с тем же суровым выражением лица, холодным взглядом и плотно сомкнутыми губами, и женщины-заключенные сгибаются, наклоняются еще ниже над своей работой, прижимаются к стене, вжимаются в нее, хотят спрятаться в ней. Иногда в моих картинах перед Ханной выстраивается сразу много заключенных или они бегают туда-сюда или образуют ряды или маршируют, и она стоит между ними и выкрикивает команды с лицом, превращенным в отвратительную гримасу, и помогает себе хлыстом. Я видел, как церковная башня обрушивается вниз, разбрасывая во все стороны искры, и слышал отчаянные крики женщин. Я видел сгоревшую церковь следующим утром.

Наряду с этими картинами я видел и другие. Ханна, которая одевает в кухне чулки, которая, распахнув, держит перед ванной полотенце, которая едет с развевающимся по ветру платьем на велосипеде, которая стоит в кабинете моего отца, которая танцует перед зеркалом, которая смотрит на меня в бассейне; Ханна, которая слушает меня, которая разговаривает со мной, которая смеется мне, которая ласкает меня. Страшно было, когда картины перемешивались. Ханна, которая занимается со мной любовью с холодным взглядом в глазах и с плотно сжатыми губами, которая безмолвно слушает мое чтение и в конце хлопает ладонью по стене, которая разговаривает со мной и лицо которой искажается мерзкой гримасой. Самым страшным были для меня сны, в которых суровая, властная, жестокая Ханна возбуждала меня сексуально и от которых я просыпался, испытывая одновременно желание, стыд и негодование. А также в страхе от самого себя.

Я понимал, что картины, преподносимые мне моей фантазией, были всего лишь жалкими шаблонами. Они были не достойны Ханны, которую я знал и любил. Тем не менее они обладали огромной силой. Они разлагали в моей памяти прежние картины с Ханной и соединялись с картинами о лагере, имевшимися в моей голове.

Когда сегодня я вспоминаю те годы, меня поражает, как мало наглядного материала у нас было, как мало фотографий, показывавших жизнь и смерть в лагерях. По Освенциму нам были знакомы ворота с их надписью, многоярусные деревянные нары, горы волос, очков и чемоданов, по Биркенау мы знали строение с башней на входе, с флигелями и воротами для поездов, а по Берген-Бельзену — горы трупов, найденные и сфотографированные при освобождении лагеря союзниками. Нам были известны некоторые показания очевидцев, но многие из рассказов и показаний вышли в свет сразу после войны и были переизданы потом

лишь в восьмидесятые годы, не входя в промежуточные десятилетия в печатную программу издательств. Сегодня выпущено столько книг и фильмов, что мир лагерей является частью общего воображаемого мира, который дополняет мир общий реальный. Фантазия знакома с ним, и со времени показа киносериала «Холокост» и таких фильмов как «Выбор Софи» и особенно «Список Шиндлера», она также свободно передвигается по нему, не только воспринимает, но и дополняет и приукрашает. Тогда, в мое время, фантазия едва двигалась; она полагала, что ее передвижение не вяжется с тем потрясением, которое еще должно быть воздано миру лагерей. Ей снова и снова приходилось разглядывать те несколько картин, которыми она была обязана фотоснимкам союзников и показаниям узников-очевидцев, пока эти картины не превратились в шаблоны.

Я решил поехать и посмотреть на все собственными глазами. Если бы у меня тогда была возможность сразу, не медля, поехать в Освенцим, я бы сделал это. Но для получения польской визы мне требовались недели. Поэтому я поехал в Штрутхоф в Эльзас. Это был ближайший от меня концентрационный лагерь. Я никогда еще ни одного не видел. Я хотел разломать шаблоны при помощи действительности.

Я ехал автостопом и мне вспоминается здесь водитель грузовика, опорожнявший за рулем одну бутылку пива за другой и шофер «Мерседеса», управлявший своей машиной в белых перчатках. За Страсбургом мне повезло: подобравшая меня машина ехала в Ширмек, маленький городок неподалеку от Штрутхофа.

Когда я сказал водителю, куда я направляюсь, он замолчал. Я посмотрел на него, но не смог разобрать по его лицу, почему он посреди оживленного разговора вдруг умолк. Он был средних лет, у него было худощавое лицо, темно-красное родимое пятно или след от ожога на правом виске и расчесанные прядями, аккуратно уложенные на пробор черные волосы. Он сосредоточенно смотрел на дорогу.

Перед нами расходились холмами Вогезы. Через виноградники мы въезжали в широко распахивающуюся, слегка уходящую вверх долину. Справа и слева и по склонам рос смешанный лес, открывавший иногда нашему взору каменоломню, выложенный из кирпича фабричный цех со складчатой крышей, старый санаторий, большую виллу со множеством башенок между высокими деревьями. То справа, то слева нас сопровождала линия железной дороги.

Потом водитель снова заговорил. Он спросил меня, зачем я еду в Штрутхоф, и я рассказал ему о судебном процессе и о нехватке у меня наглядного материала.

— А... вы хотите понять, почему люди могут вытворять такие ужасные вещи.

В его голосе слышалась ирония. Но не исключено, что это была только диалектная окраска языка и голоса. Прежде чем я смог ответить, он продолжал:

— Что вы, собственно, хотите понять? То, что люди убивают, повинаясь своей страсти, любви или гневу, что они убивают из мести, или отстаивая собственную честь — это вы понимаете?

Я кивнул.

— Вы также понимаете, что убивают, например, для того, чтобы разбогатеть или прийти к власти? Что убивают на войне или во время революции?

Я снова кивнул.

— Но...

— Но те, кого убивали в лагерях, ведь ничего не сделали тем, кто убивал — вы это хотите сказать? Вы хотите сказать, что там не было никаких причин для ненависти и никакой войны?

Сейчас мне кивать не хотелось. То, что он говорил, было правильным, но не то, как он это говорил.

— Вы правы, те, кто убивал, не имели никаких причин для ненависти и не находились в состоянии войны. Но ведь и палач не испытывает ненависти к тому, кого он казнит, и тем не менее он казнит его. Почему? Потому, что ему приказали? Вы думаете, он делает это потому, что ему дали такой приказ? И вы думаете, что я говорю сейчас о приказе и повиновении и о том, что солдатам в лагерях приказывали и что они вынуждены были повиноваться?

Он презрительно усмехнулся.

— Нет, я говорю не о приказе и повиновении. Палач не действует по приказу. Он просто выполняет свою работу, он не питает ненависти к тем, кого он казнит, он не мстит им, не убивает их потому, что они стоят ему поперек дороги, угрожают ему или нападают на него. Его жертвы ему совершенно безразличны. Они ему настолько безразличны, что он может не убивать их точно так же, как и убивать.

Он взглянул на меня.

— Где же ваше «но»? Давайте скажите мне, что человек человеку не может быть до такой степени безразличен. Разве вы не учились этому? Солидарность со всем, что носит человеческое лицо? Достоинство человека? Святое отношение к человеческой жизни?

Я негодовал и одновременно чувствовал себя беспомощно. Я искал слова, фразы, которые бы перечеркнули сказанное им, подействовали бы на него так, чтобы он лишился дара речи.

— Как-то раз, — продолжал он, — мне довелось видеть фотографию, на которой был запечатлен расстрел евреев в России. Евреи ждут своей очереди голые в длинной шеренге, некоторые стоят на краю ямы, и позади них стоят солдаты и стреляют им из винтовок в затылок. Это происходит в каком-то каменном карьере, и над евреями и солдатами на выступе в стене сидит офицер, болтает ногами и курит сигарету. Смотрит он немного раздосадованно. Быть может, дело, на его взгляд, продвигается недостаточно быстро. Но вместе с тем в его лице есть что-то довольное, что-то радостное, может быть, от того, что тут как-никак совершается повседневная работа, что скоро она будет закончена и можно будет идти отдыхать. Он не испытывает ненависти к евреям. Он не...

— Скажите, это были вы? Это вы сидели на том выступе и...

Он остановил машину. Он был бледен как мел, и пятно на его виске горело.

— Вон отсюда!

Я вылез. Он развернулся так, что мне пришлось отпрыгнуть в сторону. Я слышал рев машины еще за несколькими поворотами. Потом стало тихо.

Я поднимался по дороге в гору. Ни одна машина не обгоняла меня, ни одна не двигалась мне навстречу. Я слышал щебет птиц, шум ветра в деревьях и иногда журчание ручья. Я дышал избавленно. Через четверть часа я был у концлагеря.

Недавно я еще раз съездил туда. Была зима, ясный, холодный день. За Ширмеком лес был занесен снегом — припудренные белым деревья и белая заснеженная земля. Территория концлагеря, удлиненное прямоугольное пространство на покатой горной террасе с широким видом, открывающимся на Вогезы, белым полотном лежала в ярком свете солнца. Серо-голубая окраска двух- и трехэтажных сторожевых вышек и одноэтажных бараков приветливо контрастировала со снегом. Естественно, там были обитые провололочной сеткой ворота с надписью «Концентрационный лагерь Штрутхоф-Нацвейлер» и двойной ряд колючей проволоки, опоясывающий лагерь. Однако земля между сохранившимися бараками, на которой они некогда стояли в тесном соседстве друг с другом, не выдавала больше из-под своего сверкающего снежного покрывала никаких примет бывшего лагеря. Это мог бы быть удобный склон для катания на санках для детей, которые проводят здесь в симпатичных бараках с приветливыми, перехваченными рейками окошками зимние каникулы и которых мамы вот-вот выйдут звать домой на пирог с горячим шоколадом.

Лагерь был закрыт. Я бродил вокруг него по снегу и замочил себе ноги. Мне была хорошо видна вся территория и я вспоминал, как тогда, во время своего первого приезда сюда, я ходил вверх-вниз по ступеням, проложенным между фундаментными стенами снесенных бараков. Я помнил печи крематория, которые нам показали тогда в одном из бараков, а также то, что в другом из них располагались камеры карцера. Я помнил свою тогдашнюю безуспешную попытку конкретно представить себе действующий лагерь со всеми его заключенными, солдатами-охранниками, ужасами и страданиями. Я в самом деле попробовал сделать это, посмотрел на один из бараков, закрыл глаза и начал ставить в своем воображении барак к барак. Я замерил размеры барака, высчитал с помощью проспекта число заключенных, находившихся в каждом из них, и представил себе царившую там тесноту. Я узнал, что ступени между бараками служили одновременно местом построения заключенных, и, переводя взгляд по территории лагеря снизу вверх, заполнил их рядами спин. Но все было тщетно, и во мне поднялось жалкое, постыдное чувство своей несостоятельности. На обратном пути, ниже по склону, я обнаружил маленький, расположенный напротив местного ресторана домик, который, судя по поясняющей табличке, служил раньше газовой камерой. Его стены были выкрашены в белый цвет, двери и окна были обрамлены рамами из песчаника и он мог бы спокойно быть каким-нибудь сараем или амбаром, или домом, в котором жила прислуга. Он тоже оказался закрыт, и я не помню, чтобы мне в той мой первый раз удалось побывать в нем. Я не вылез из машины. Я некоторое время сидел, не выключая мотора, и просто смотрел. Потом я поехал дальше.

Сначала я не решался кружить на пути домой по деревням Эльзаса и искать ресторан, в котором можно было бы пообедать. Но эта нерешительность исходила не из подлинного ощущения, а из рассуждений о том, как следует чувствовать себя после посещения концентрационного лагеря. Я сам это заметил, пожал плечами и нашел в одной из деревушек на склоне Вогезов ресторан «Маленький гарсон». С места за столиком, где я сидел, мне открывался вид на простирающуюся внизу равнину. «Парнишка» называла меня Ханна...

Во время своего первого приезда в Штрутхоф я бродил по территории концлагеря, пока он не закрылся. После этого я сел у памятника, который стоит над лагерем, и стал смотреть на его территорию сверху. В себя я ощущал огромную пустоту, как будто я искал зрительных впечатлений не внизу перед собой, а в самом себе и вынужден был констатировать, что там мне ничего не найти.

Потом стемнело. Мне пришлось ждать около часа, пока меня не подобрал грузовик, в кузове которого я доехал до ближайшей деревни, отказавшись от мысли отправиться в обратный путь еще тем же вечером. Я нашел дешевую комнату в деревенской гостинице и получил на ужин в ресторанчике при ней худой антрекот с картошкой фри и зеленым горошком.



За соседним столиком с шумом играли в карты четверо мужчин. Открылась дверь, и внутрь без слова приветствия вошел приземистый старик. На нем были шорты и вместо одной ноги у него была деревяшка. У стойки он заказал пиво. К соседнему столику он повернулся спиной и своим чересчур большим лысым черепом.

Картежники оставили карты, запустили пальцы в пепельницы, вытащили из них окурки и один за другим стали швырять их в старика, целясь ему прямо в череп. Тот махал руками позади своей головы, словно отгоняя назойливых мух. Хозяин поставил перед ним пиво. Никто ничего не говорил.

Я не выдержал, вскочил и подошел к соседнему столику. «Немедленно прекратите!» Я дрожал от возмущения. В тот же момент старик, припрыгивая, заковылял к нам, стал по пути возиться со своей деревянной ногой, пока она неожиданно не оказалась у него в руках, с грохотом ударил ей по столу, так, что на нем затанцевали стаканы с пепельницами, и опустился на свободный стул. При этом он визгливо смеялся своим беззубым ртом, и остальные смеялись вместе с ним раскатистым пивным смехом. «Немедленно прекратите», — смеялись они и показывали на меня, — «немедленно прекратите».

Ночью вокруг дома шумел ветер. Мне не было холодно, и завывания ветра, треск дерева рядом с окном и периодическое постукивание одной ставни были не такими громкими, чтобы по этой причине я не мог спать. Однако на душе у меня делалось все беспокойнее, пока я не начал дрожать всем телом. Мной овладел страх, не страх в ожидании чего-то недоброго, а страх как телесное самочувствие. Я лежал, прислушивался к ветру, чувствовал облегчение, когда он становился слабее и тише, боялся его нового нарастания и не знал, как я смогу следующим утром встать, поехать автостопом домой, продолжить учебу в университете и иметь в один прекрасный день профессию, жену и детей.

Я хотел понять и вместе с тем осудить преступление Ханны. Но для этого оно было слишком ужасным. Когда я пытался понять его, у меня возникало чувство, что я не могу больше осудить его так, как оно, по сути дела, должно было быть осуждено. Когда я осуждал его так, как оно должно было быть осуждено, во мне не оставалось места для понимания. Но одновременно с этим я хотел понять Ханну; не понять ее означало снова предать ее. Я никак не мог справиться с этой дилеммой. Я хотел проявить себя как в одном, так и в другом: в понимании и в осуждении. Но и то и другое вместе было невозможно.

Следующий день был снова замечательным летним днем. Попутные машины ловились легко и через несколько часов я был в своем городе. Я ходил по нему так, будто давно в нем не был; улицы, дома и люди были мне чужими. Однако чуждый мир концлагерей не придвинулся ко мне от этого ближе. Мои впечатления от Штрутхофа присоединились к тем немногим картинам Освенцима, Биркенау и Берген-Бельзена, которые уже имелись во мне, и застыли вместе с ними.

Потом я все-таки пошел к председательствующему судье. Пойти к Ханне у меня не получилось. Но и вынести бездействия я тоже не мог.

Почему у меня не получилось поговорить с Ханной? Она бросила меня, ввела меня в заблуждение, была не той, кого я видел в ней, или не той, какой я делал ее в своих фантазиях. А кем был для нее я? Маленьким чтецом, которым она пользовалась в своих целях, маленьким любовником, с помощью которого она удовлетворяла свою похоть? Она бы тоже отправила меня в газовую камеру, если бы не имела возможности убежать от меня, но хотела от меня избавиться?

Почему я не мог вынести бездействия? Я говорил себе, что я должен помешать объявлению ошибочного приговора. Должен позаботиться о том, чтобы восторжествовала справедливость, несмотря на всю ложь Ханны — справедливость, так сказать, на благо Ханны и ей во вред. Но, если разобраться, справедливость была для меня не главным. На самом деле я не мог оставить Ханну такой, какой она была или хотела быть. Я должен был что-то исправить в ней, оказать на нее какое-то влияние или воздействие, если не напрямую, так косвенно.

Председательствующий судья знал нашу семинарскую группу и охотно согласился принять меня у себя после одного из заседаний. Я постучал, судья пригласил меня войти, поздоровался со мной и усадил меня на стул перед своим письменным столом. Он сидел за ним в одной рубашке. Его мантия лежала позади него на спинке и подлокотниках стула; было видно, что он сел в ней за стол и дал ей потом просто соскользнуть с себя. У него был расслабленный вид — вид человека, который закончил свою повседневную работу и доволен ею. Его лицо, когда на нем отсутствовало то недоуменное выражение, за которым он прятался во время судебных заседаний, было приятным, интеллигентным, безобидным лицом государственного служащего. Он болтал без умолку и спрашивал меня о том и сем: что наша группа думает об этом судебном разбирательстве, что наш профессор собирается делать с протоколами, на каком курсе мы учимся, на каком курсе учусь я, почему я изучаю право и когда я хочу сдавать свой основной экзамен. Мне ни в коем случае не следует затягивать со сдачей экзамена, советовал он.

Я ответил на все вопросы. Потом я слушал, как он рассказывал мне о своих студенческих годах и о своем экзамене. Он сделал все как положено. Он своевременно и с должным успехом выполнил всю учебно-семинарскую программу и сдал затем экзамен. Ему нравилась его профессия юриста и судьи, и если бы ему еще раз пришлось проделать тот путь, который он уже проделал, то он проделал бы его точно так же.

Окно было открыто. На автостоянке хлопали двери машин и заводились моторы. Я прислушивался к их шуму, пока он не пропадал в общем гуле дорожного движения. Потом на опустевшей стоянке начали играть и галдеть дети. Время от времени до меня отчетливо долетало какое-нибудь слово: имя, ругательство, возглас.

Председательствующий судья встал и попрощался со мной. Он с удовольствием примет меня опять, если у меня появятся к нему новые вопросы, сказал он. Я могу также прийти к нему, если мне понадобится какой-нибудь совет, касающийся учебы. И наша семинарская группа должна непременно дать знать ему, какие результаты она вынесла из этого процесса и какую она поставила ему общую оценку.

Я шел по пустынной автостоянке. Один из игравших там подростков на мой вопрос описал мне дорогу к вокзалу. Остальные студенты нашей группы сразу после окончания судебного заседания, как обычно, уехали домой на машине, и мне пришлось добираться назад на поезде. Это был поезд пригородного сообщения, двигавшийся с учетом конца рабочего дня еле-еле; он останавливался на каждой станции, люди то и дело входили и выходили, я сидел у окна, окруженный все время разными попутчиками, разговорами, запахами. За окном проплывали дома,

улицы, машины, деревья и вдали горы, замки и каменоломни. Я воспринимал все и ничего не чувствовал. Я не испытывал больше горечи из-за того, что Ханна бросила меня, ввела меня в заблуждение и использовала меня в своих целях. Мне также не нужно было больше исправлять в ней что-нибудь. Я заметил, как оцепенение, в состоянии которого я следил за ужасами процесса, легло на чувства и мысли, занимавшие меня последние недели. Сказать, что я был рад этому, было бы преувеличением. Но я ощущал, что это было для меня чем-то необходимым. Чем-то, что позволяло мне вернуться к моим будням и продолжать жить в них дальше.

В конце июня был вынесен приговор. Ханна получила пожизненное заключение. Остальные получили те или иные сроки лишения свободы.

Зал суда был полон, как и в самом начале процесса: судебный персонал, студенты моего и местного университета, класс одной из школ, свои и зарубежные журналисты, а также те, кто каким-то образом всегда присутствует в залах суда. Было шумно. Когда ввели обвиняемых, никто сначала не обратил на них внимания. Но потом шум улегся. Первыми затихли те, чьи места были спереди, рядом с обвиняемыми. Они подтолкнули в бок своих соседей и повернулись к тем, кто сидел сзади. «Вон, смотрите», зашептали они, и те, которые посмотрели, тоже притихли, подтолкнули следом своих соседей, повернулись к сидящим сзади и зашептали «смотрите, смотрите». И в конце концов в зале сделалось совсем тихо.

Не знаю, осознавала ли Ханна, как она выглядела, или, быть может, она нарочно хотела выглядеть так. На ней был черный костюм и белая блузка, и покрой костюма и галстук к блузке придавали ей такой вид, как будто она была одета в форму. Я никогда не видел формы для женщин, работавших на СС. Но я полагал, и все присутствовавшие в зале полагали, что сейчас она была перед нами, эта форма, эта женщина, работавшая в ней на СС и содейвавшая все то, в чем обвинялась Ханна.

По рядам снова пошли шептания. Многие из присутствующих были заметно возмущены. Им казалось, что Ханна насмехается над судебным процессом, над приговором, а также над ними — теми, кто, пришел на оглашение этого приговора. Они выражали свое негодование все громче, и некоторые выкрикивали Ханне, что они о ней думают. Пока в зал не вошла судейская коллегия и председательствующий судья не зачитал приговор, бросив предварительно недоуменный взгляд на Ханну. Ханна слушала стоя, держась прямо и оставаясь совершенно неподвижной. Во время зачитывания обоснования приговора она сидела. Я не отводил взора от ее головы и шеи.

Чтение приговора длилось несколько часов. Когда судебный процесс подошел к концу и осужденных женщин стали выводить из зала, я ждал, не посмотрит ли Ханна в мою сторону. Я сидел там, где сидел все это время. Но она смотрела прямо перед собой и сквозь всех и вся. Высокомерный, уязвленный, потерянный и бесконечно усталый взгляд. Взгляд, который никого и ничего не хочет видеть.

Лето после процесса я провел в читальном зале университетской библиотеки. Я приходил, когда читальный зал открывался, и уходил, когда он закрывался. По выходным я занимался дома. Я занимался с такой самоотдачей, с такой одержимостью, что чувства и мысли, которые усыпил во мне процесс, остались усыпленными. Я избегал контактов. Я выехал из дома родителей и снял себе комнату. Немногочисленных знакомых, которые заговаривали со мной в читальном зале или во время моих случайных походов в кино, я буквально отталкивал от себя.

Во время зимнего семестра в моем поведении практически ничего не изменилось. Тем не менее одна компания студентов пригласила меня провести с ней рождественские праздники в горах в хижине для лыжников. Удивившись, я согласился.

Лыжником я был не бог весть каким. Но лыжи я любил, ездил быстро и не отставал от хороших лыжников. Порой на крутых спусках, которые, собственно, были мне не по плечу, я рисковал упасть и сломать себе что-нибудь. Делал я это осознанно. Другую опасность, которой я подвергал себя и которая в конце концов вплотную приблизилась ко мне, я вообще не воспринимал.

Мне никогда не было холодно. В то время как другие катались на лыжах в свитерах и куртках, я катался в одной рубашке. Другие только покачивали на этот счет головами, подшучивали надо мной. Но и к их озабоченным предостережениям я относился несерьезно. Я не мерз и все. Когда у меня начался кашель, я свел это к последствию от курения австрийских сигарет. Когда у меня поднялась температура, я испытывал удовольствие от пребывания в таком состоянии. Я был слабым и одновременно легким, и мои чувственные впечатления были благотно притуплены, они были какими-то ватными, объемисто-мягкими. Я парил.

Потом температура поднялась еще выше и меня отвезли в больницу. Когда я вышел из нее, состояние оцепенения исчезло. Все вопросы, страхи, обвинения и упреки в свой адрес, весь ужас и вся боль, которые во время процесса поднялись во мне и потом были сразу усыплены, снова вернулись и уже никуда не уходили. Я не знаю, какой диагноз ставят медики, когда кто-то не мерзнет, хотя он должен мерзнуть. Диагноз, который поставил себе я, говорит, что оцепенение должно было завладеть всем моим телом, прежде чем оно смогло отпустить меня, прежде чем я смог избавиться от него.

Когда я закончил учебу и начал стажировку, пришло лето студенческого движения. Я интересовался историей и социологией и в качестве стажера еще достаточно долгое время находился в университете, чтобы увидеть все своими глазами. Видеть не значит участвовать — высшая школа и связанные с ней реформы были мне в конечном итоге так же безразличны, как вьетконговцы и американцы. Что касалось третьей и основной темы студенческого движения, критики нацистского прошлого страны, то тут я ощущал такую дистанцию между собой и другими студентами, что мне не хотелось с ними агитировать и выходить на демонстрации.

Иногда мне кажется, что критический подход к нацистскому прошлому был не причиной, а только выражением конфликта поколений, который воспринимался тогда как движущая сила студенческих выступлений. Ожидания родителей, уйти из-под давления которых считает себя обязанным каждое поколение, оказались просто развеянными тем фактом, что эти родители обнаружили свою полную несостоятельность в Третьем рейхе или, самое позднее, после его крушения. Как могли те, кто совершал во имя национал-социалистских идей преступления, или равнодушно смотрел, как они совершаются, или безучастно отворачивался от них или же те, кто после сорок пятого терпел в своем обществе преступников или даже относился к ним как к себе равным, как могли такие родители еще что-то говорить своим детям? Но, с другой стороны, нацистское прошлое было темой и для детей, которые ни в чем не могли или не желали упрекнуть своих родителей. Для таких

детей критический подход к нацистскому прошлому был не проявлением конфликта поколений, а настоящей проблемой.

Что бы там с моральной и юридической точки зрения не вкладывалось в понятие «коллективная вина» — для моего поколения студентов она была осознанной реальностью. Она распространялась не только на происшедшее в Третьем рейхе. То, что надгробия на еврейских кладбищах осквернялись изображениями свастики, то, что в судах, в административном аппарате и в университетах сделало себе карьеру столько старых нацистов, то, что Федеративная Республика Германии не признавала государство Израиль, то, что об эмиграции и движении сопротивления говорилось меньше, чем о жизни в приспособленчестве — все это наполняло нас чувством стыда, даже если мы могли показывать пальцами на виновных. Возможность показывать пальцем на виновных не освобождала от стыда. Но она позволяла преодолеть муки от него. Она превращала пассивные муки от стыда в энергию, действие, агрессию. И споры с виновными родителями были особенно полны энергии.

Я ни на кого не мог показать пальцем. На своих родителей уже по одной той причине, что я ни в чем не мог их обвинить. Просветительский пыл, с которым я раньше, будучи участником семинара на концлагерную тематику, приговорил своего отца к позору, у меня прошел, стал мне неприятен. Однако то, что в годы нацистского режима сделали другие люди из моего социального окружения, и то, чем они навлекли на себя вину, было в любом случае не таким страшным, как то, что сделала Ханна. По сути дела, я должен был показывать на Ханну. Но палец, указывающий на нее, поворачивался обратно на меня. Я ее любил. Я ее не только любил, я ее выбрал. Я пытался убедить себя, что, выбрав Ханну, я ничего не знал о том, что она сделала. Я пытался внушить себе этим, что меня окружает тот же ореол невинности, который окружает детей, любящих своих родителей. Но любовь к родителям является единственной любовью, за которую не отвечают.

И, возможно, ответ приходится держать даже за любовь к родителям. В то время я завидовал другим студентам, которые отступились от своих родителей и тем самым от целого поколения преступников, тихих наблюдателей и игнорантов, соглашающейся и терпящей массы, и избавились тем самым если не от своего стыда, то все же от мук, причиняемых им. Но откуда бралась у этих студентов щегольская уверенность в своей правоте, которую я так часто за ними наблюдал? Как можно испытывать вину и стыд и одновременно щеголять уверенностью в своей правоте? Не было ли отречение от родителей одной лишь риторикой, шумом, гамом, призванными заглушить тот факт, что любовь к родителям окончательно и бесповоротно утвердила втягивание детей в родительскую вину?

Это мысли уже более поздней поры. Но и позже они тоже не были для меня утешением. Как могло быть утешением то, что мои страдания от любви к Ханне известным образом представляли собой судьбу моего поколения, немецкую судьбу, уйти от которой, переиграть которую мне было еще труднее, чем другим. Думаю, что в то время мне бы все-таки пошло на пользу, если бы я мог чувствовать себя причастным к своему поколению.

Я женился еще в свою бытность стажером. С Гертрудой я познакомился во время тех рождественских каникул в горах, и когда другие студенты в конце каникул поехали обратно домой, она еще осталась ждать, пока меня не выпишут из больницы, чтобы ехать вместе со мной. Она тоже была юристом; мы вместе учились в университете, вместе выдержали экзамен и вместе стали стажерами. Мы поженились, когда Гертруда ждала ребенка.

Я ничего не рассказал ей о Ханне. Кому хочется, думал я, слышать о прошлых связях другого, не являясь самому их участником? Гертруда была рассудительной, старательной и лояльной женщиной, и если бы нам в нашей совместной жизни суждено было вести крестьянское хозяйство с большим количеством подсобных рабочих и работниц, множеством детей, кучей работы и недостатком свободного времени друг для друга, то эта жизнь была бы наполненной и счастливой. Но наша жизнь была действительностью, состоявшей из трехкомнатной квартиры в доме новой постройки в пригороде, забот о нашей дочери Юлии и нашей работы юристами-стажерами. Я никогда так и не смог избавиться от того, чтобы не сравнивать свою близость с Гертрудой со своей близостью с Ханной; и всегда, когда я держал Гертруду в объятиях, у меня было чувство, что здесь что-то не так, что она не та, что на ощупь она не та, что она не так пахнет и что у нее не тот вкус. Я думал, что это пройдет. Я надеялся, что это пройдет. Я хотел быть свободным от Ханны. Но чувство, что здесь что-то не так, не проходило.

Когда Юлии было пять лет, мы развелись. Мы не могли больше жить такой жизнью, разошлись без ожесточения и остались в корректных отношениях друг с другом. Мучало меня только то, что мы не дали Юлии чувства родительской защищенности, которое она так желала получить от нас. Когда отношения между Гертрудой и мной были полны преданности и доверия, Юлия чувствовала себя как рыба в воде. Она была в своей стихии. Когда она замечала между нами некоторую натянутость, она бегала от одного к другому и говорила, какие мы хорошие и как она нас любит. Она хотела иметь маленького братишку и наверняка была бы рада еще и сестренке. Она долго не могла понять, что такое развод, и хотела, когда я приходил навестить ее, чтобы я остался с ней, и, когда она приходила ко мне, чтобы Гертруда тоже была с ней. Когда я уходил и она смотрела на меня из окна и я садился под ее печальным взглядом в машину, мое сердце разрывалось на части. И меня преследовало чувство, что то, чего мы не дали нашей дочери, было не только ее желанием, но что она также имела на это свое право. Пойдя на развод, мы обманом лишили ее этого права и то, что сделали мы это сообща, не делило нашей вины надвое.

Мои последующие связи я пытался начинать и продолжать осмотрительнее. Я признался себе, что женщина для меня теперь должна быть на ощупь хоть немного такой, как Ханна, что она должна иметь примерно такой же запах и вкус, как Ханна, с тем, чтобы в нашей совместной жизни все было в порядке. И я уже рассказывал о Ханне. И о себе я другим женщинам рассказывал больше, чем рассказал в свое время Гертруде; они должны были сами понять, что им в моем поведении и моих настроениях в будущем могло показаться странным. Но другие женщины не хотели слушать много. Я вспоминаю Хелен, американку-литературоведа, которая молча и успокаивающе поглаживала меня по спине, когда я рассказывал, и также молча и успокаивающе продолжала поглаживать, когда я переставал рассказывать. Гезина, психоаналитик, считала, что я должен разобраться в своем отношении к матери. Не бросается ли мне в глаза, говорила она, что я почти не упоминаю в своих рассказах о своей матери? Хильке, зубной врач, то и дело расспрашивала меня о том, что у меня было до нее, но тут же забывала, что я ей рассказывал. Под влиянием этого я снова отказался от своих рассказов. Поскольку правда того, о чем ты говоришь, заключается в том, что ты делаешь, то лишние разговоры можно также оставить.

Когда я готовился к своему второму экзамену, умер профессор, который организовал семинар, посвященный теме концлагерей. Гертруда натолкнулась в газете на извещение о его смерти. Похороны должны были состояться на горном кладбище. Не хочу ли я пойти на них, спросила она.

Я не хотел. Похороны, как указывалось в газете, были в четверг во второй половине дня, а в четверг и в пятницу в первой половине дня мне надо было писать две экзаменационные работы. К тому же мы с профессором были не очень-то близки друг другу. И я не люблю похорон. И я не хотел вспоминать о том судебном процессе.

Но было уже поздно. Моя память пробудилась, и когда в четверг я вышел из аудитории после написания экзаменационной работы, мне казалось, что сейчас меня ждет свидание с прошлым, которое мне никак нельзя пропустить.

Я, что было не в моих привычках, поехал на трамвае. Уже это было встречей с прошлым, словно возвращением на место, которое тебе хорошо знакомо и теперь только изменило свой вид. В то время, когда Ханна работала трамвайным кондуктором, по городу ездили трамваи с двумя или тремя вагонами, с платформами в начале и в конце каждого вагона, с подножками внизу, на которые еще можно было запрыгнуть, когда трамвай уже тронулся. И по вагонам проходил сигнальный шнур, с помощью которого кондуктор давал звонок к отходу трамвая от остановки. Летом вагоны ездили с открытыми платформами. Кондуктор продавал, компостировал и проверял билеты, громко объявлял остановки, сигнализировал, предупреждая об отъезде, приглядывал за детьми, теснившимися на платформах, прикрикивал на пассажиров, запрыгивавших на подножки и спрыгивавших с них, и запрещал вход в вагон, когда он бывал полным. Кондукторы были разные: веселые, остроумные, серьезные, ворчливые и грубые, и от того, какими были темперамент или настроение кондуктора, зачастую зависела и атмосфера в вагоне. Как глупо с моей стороны, что после того моего неудавшегося сюрприза для Ханны во время поездки в Шветцинген я побоялся еще раз сесть к ней в трамвай и понаблюдать за тем, как она работает.

Я сел в трамвай без кондуктора и поехал к горному кладбищу. Стоял холодный осенний день с безоблачным, мглистым небом и желтым солнцем, которое больше не греет и на которое глаза могут смотреть, не испытывая боли. Мне пришлось немного поискать, прежде чем я нашел могилу, у которой проходила погребальная церемония. Я шел под высокими, голыми деревьями между старыми надгробиями. По пути мне встретились кладбищенский садовник и старая женщина с лейкой и садовыми ножницами. Было совсем тихо, и я уже издали услышал церковный хорал, который пели у могилы профессора.

Я остался стоять в стороне и изучал небольшую траурную группку. Некоторые из присутствующих были явно людьми, которых обычно называют странными или чудаковатыми. В речах о жизни и делах профессора звучало, что он сам освободил себя от оков общества и при этом потерял с ним контакт, остался независимым, сделавшись при этом чудаковатым.

Я узнал одного из участников нашего тогдашнего семинара; он сдал экзамен до меня, стал сначала адвокатом, потом владельцем какого-то кабака и пришел на похороны в длинном красном пальто. Он заговорил со мной, когда все закончилось и я шел обратно к воротам кладбища.

— Мы были вместе на семинаре, помнишь?

— Конечно.

Мы пожали друг другу руки.

— Я приезжал на процесс всегда по средам и иногда подвозил тебя.



Он засмеялся.

— Ты был там каждый день, каждый день и каждую неделю. Может быть, ты сейчас скажешь, почему?

Он посмотрел на меня, добродушно и выжидающе, и я вспомнил, что обратил внимание на этот взгляд еще на семинаре.

— Мне тот процесс был особенно интересен.

— Особенно интересен?

Он снова засмеялся.

— Процесс или обвиняемая, на которую ты все время смотрел? Та, которая довольно сносно выглядела? Мы все гадали, что у тебя может быть с ней, но спросить тебя никто не решался. Мы тогда были такими чуткими и внимательными. Помнишь...

Он напомнил мне об одном участнике семинара, который заикался и шепелявил и любил много и не по делу говорить и которого мы все слушали так, точно его слова были чистым золотом. Он стал рассказывать о других студентах, посещавших тот семинар, какими они были тогда и чем занимались теперь. Он рассказывал и рассказывал. Но я знал, что в конце он еще раз меня спросит: «Ну, так что же там было между тобой и той обвиняемой?» И я не знал, что мне ответить, как мне отнекиваться, признаваться, уклоняться.

Мы подошли к воротам кладбища, и он спросил. От остановки как раз отъезжал трамвай, я крикнул «пока» и побежал за трамваем, как будто мог запрыгнуть на его подножку. Я бежал рядом с трамваем и стучал ладонью по двери, и случилось то, во что я совсем не верил, на что я вообще не надеялся. Трамвай еще раз остановился, дверь открылась, и я заскочил в нее.

По окончании стажировки мне надо было определяться в выборе профессии. Я не торопился; Гертруда сразу начала работать судьей, у нее было много дел, и мы были рады, что я мог оставаться дома и заботиться о Юлии. Когда Гертруда преодолела начальные трудности по работе и мы отдали Юлию в детский сад, необходимость принятия решения стала подпирать меня.

Мне нелегко было решиться. Я не видел себя ни в одной из ролей, в которых я видел юристов на процессе против Ханны. Обвинение казалось мне таким же гротескным упрощением юридического дела, что и защита, а судейство было среди упрощений вообще самым гротескным. Я не мог также представить себя служащим государственного учреждения; стажером мне довелось работать в нашем окружном управлении и его кабинеты, коридоры, запахи и чиновники показались мне серыми, стерильными и скучными.

В результате на мой выбор оставалось не так уж много юридических профессий, и я не знаю, что бы я сделал, если бы один профессор по истории права не предложил мне работать у него. Гертруда говорила, что это бегство, бегство от трудностей и ответственности жизни, и она была права. Я бежал и чувствовал облегчение от того, что мог бежать. Это ведь не навсегда, убеждал я ее и себя; я достаточно молод, чтобы еще и через несколько лет после своей деятельности на поприще истории права взяться за любую солидную юридическую профессию. Но это было навсегда; за первым бегством последовало второе, когда я перешел из университета в научно-исследовательский институт и нашел там нишу, в которой мог предаваться своим изысканиям по истории права, ни в ком не нуждаясь и никому не мешая.

Надо сказать, что бегство это не только удаление от чего-то, но еще и приближение к чему-то. И прошлое, в котором я очутился как историк-правовед, было не менее живым, чем настоящее. Непосвященному, вероятно, может показаться, что историк только наблюдает за полнотой жизни прошлого, оставаясь участником жизни настоящего. Это не так. Заниматься историей означает наводить мосты между прошлым и настоящим, вести наблюдение за обоими берегами и быть активным на каждом из них. Одной из исследуемых мною областей стало право в Третьем рейхе, и здесь особенно бросается в глаза, как прошлое и настоящее срastaются друг с другом в одну жизненную реальность. Бегство здесь это не остановка на прошлом, но решительное сосредоточение на настоящем и будущем — слепом преемнике наследия прошлого, которое накладывает на нас свой отпечаток и с которым мы вынуждены жить.

При этом я не хочу скрывать удовлетворения, получаемого мной от погружения в ушедшие времена, значение которых для настоящего менее существенно. Первый раз я испытал его, когда изучал своды и проекты законов эпохи просвещения. Все они поддерживались верой в то, что в мире заложен праведный порядок и что поэтому мир всегда можно привести в состояние праведного порядка. Видеть, как из этой веры в качестве торжественных стражей праведного порядка создавались параграфы и как они выводились потом в законы, стремившиеся быть совершенными и своим совершенством являть также доказательство своей истины — было для меня подлинным счастьем. Долгое время я считал, что в истории права есть место прогрессу и что, несмотря на ужасные поражения и отступления, оно продвигается к еще большему совершенству и еще большей истине, рациональности и гуманности. С тех пор как мне сделалось ясно, что эта мысль — химера, мое воображение занимает другая картина о ходе истории права. В ней движение права хотя и представляется мне целенаправленным, однако цель, которой оно достигает после многочисленных потрясений, смятений и ослеплений, является началом, от которого оно когда-то выдвинулось в путь и от которого оно, едва дойдя до него, вновь должно отходить.

В то время я перечитывал Одиссею, которую впервые прочитал в школе и сохранил в своей памяти как историю о возвращении на родину. Но это не история о

возвращении на родину. Как могли древние греки, зная, что в одну реку не ступают дважды, верить в возвращение домой? Одиссей возвращается не для того, чтобы остаться, но для того, чтобы снова отправиться в путь. Одиссея — это история движения, одновременно целенаправленного и бесцельного, успешного и тщетного. Разве история права чем-то от нее отличается?

С Одиссеи я начал. Я читал ее, после того как мы с Гертрудой развелись. Ночами я тогда плохо спал; я лежал, не смыкая глаз, и когда я зажигал свет и брал в руки книгу, глаза у меня начинали слипаться, когда же я откладывал книгу и выключал свет, я снова не мог уснуть. Так я стал читать вслух. Это не давало моим глазам закрыться. И по той причине, что в моих спутанных, проникнутых воспоминаниями и грезами, вращающихся мучительным круговоротом дремотных мыслях о моем браке, моей дочери и моей жизни на передний план то и дело выходила Ханна, я начал читать для Ханны. Я читал для Ханны вслух, записывая себя на кассеты.

Прежде чем я отослал ей первые кассеты, прошло несколько месяцев. Сначала я не хотел посылать отдельные части Одиссеи и ждал, пока не запишу на пленку весь эпос. Потом я засомневался в том, что Одиссея покажется Ханне достаточно интересной, и стал записывать также то, что читал после Одиссеи: рассказы Шницлера и Чехова. Потом я никак не мог собраться позвонить в суд, который вынес Ханне приговор, и узнать, где она отбывает наказание. Наконец, я собрал все вместе: адрес Ханны в тюрьме неподалеку от города, в котором проходил ее процесс, кассетный магнитофон и кассеты, пронумерованные в обратном порядке от Чехова через Шницлера к Гомеру. И, в конце концов, я отправил ей посылку с магнитофоном и кассетами по почте.

Недавно я нашел тетрадь, в которой я делал пометки о том, что записывал для Ханны на протяжении долгих лет. Первые двенадцать книжных названий внесены, по всей видимости, в одно время; видно, я читал сначала все подряд и потом понял, что без заметок мне не запомнить, что я уже прочитал. Рядом с последующими названиями иногда стоит дата, иногда ее нет, но я и без того знаю, что первую посылку я отправил Ханне на восьмом и последнюю — на восемнадцатом году ее тюремного заключения. На восемнадцатом году ее ходатайство о помиловании было удовлетворено.

Большей частью я читал для Ханны книги, которые мне самому хотелось читать в данный момент. Записывая Одиссею, мне поначалу было трудно сосредоточиться и читать для Ханны громким голосом так же хорошо, как тихим голосом для себя. Но я приноровился. Недостатком чтения вслух было то, что оно длилось дольше. Зато тогда прочитанное лучше оседало в памяти. И сегодня отдельные места вспоминаются мне особенно отчетливо.

Я читал также то, что уже знал и любил. Так Ханна слышала многие произведения Келлера и Фонтане, Гейне и Мерики. Долгое время я не отваживался читать ей стихи, но потом вошел во вкус, и даже выучил наизусть целый ряд стихотворений, прочитанных мной вслух. Я не забыл их и по сегодняшний день.

В целом названия книг в тетради свидетельствуют о вере в гражданское и просветительское предназначение выбранной литературы. Я также не помню, чтобы я когда-нибудь задался вопросом, не стоит ли мне выйти за рамки творчества Кафки, Фриша, Джонсона, Бахман и Ленца и перейти к чтению экспериментальной литературы, литературы, в которой я не улавливаю сюжета и в которой мне не нравится ни один из героев. Я понимал так, что экспериментальная литература экспериментирует с читателем, а это было не нужно ни Ханне, ни мне.

Когда я начал писать сам, я начитывал ей на кассету и написанное мной. Я диктовал свою рукопись и перерабатывал потом машинописный экземпляр, пока у меня не появлялось чувство, что сейчас он готов. Зачитывая его, я подмечал, верным было это чувство или нет. Если нет, я мог еще раз все переработать и наложить новую запись на старую. Однако такой метод мне не нравился. Я хотел, чтобы чтение на кассету завершало мой рабочий процесс. И Ханна стала для меня той инстанцией, ради которой я еще раз собирал воедино всю свою силу, всю свою творческую энергию, всю свою критическую фантазию. После этого я мог отсылать рукопись в издательство.

Я не записывал на кассеты никаких личных замечаний, не спрашивал о Ханне, не сообщал о себе. Я зачитывал название произведения, имя автора и потом сам текст. Когда текст подходил к концу, я делал короткую паузу, захлопывал книгу и нажимал на клавишу «стоп».

На четвертом году нашего многоречиво-лаконичного контакта я получил такое послание: «Парнишка, последняя история была особенно интересной. Спасибо. Ханна.»

Бумага была в линейку — вырванная из школьной тетради страница с ровно обрезанным краем. Послание располагалось в самом верху страницы и занимало три строки. Оно было написано синей, мажущей шариковой ручкой. Ханна сильно нажимала на нее, выводя буквы так, что написанное выдавилось на обратной стороне. Адрес тоже был выведен с силой; приглядевшись, его отпечаток четко можно было разобрать в верхней и нижней половинах сложенного вдвое листа.

На первый взгляд можно было подумать, что это детский почерк. Но то, что в почерке детей бывает неуклюжим и беспомощным, здесь было насильственным. Здесь так и проглядывало сопротивление, которое нужно было преодолеть Ханне, чтобы соединить линии в буквы, а буквы в слова. Детская рука хочет отклониться то туда, то сюда и должна обязательно придерживаться связной колеи, прокладываемой почерком. Рука Ханны никуда не хотела отклоняться и должна была испытывать какие-то внутренние толчки для продвижения вперед. Линии, образующие буквы, начинались все время сызнова, при движении руки вверх, при движении руки вниз, перед закруглениями и завитками. И каждая буква завоевывалась заново, располагалась то прямо, то косо и зачастую была также разной высоты и ширины.

Я прочел послание и весь наполнился радостью и ликованием. «Она пишет, она пишет!» За все эти годы я прочитал о неграмотности все, что только можно было найти. Я знал, какую беспомощность испытывают неграмотные люди в повседневных жизненных ситуациях, при нахождении нужной улицы, нужного адреса или при выборе какого-нибудь блюда в ресторане, я знал, какая нерешительность одолевает их, когда они следуют заданным образцам и совершают привычные, проверенные действия, я знал об огромной энергии, которая уходит у них на то, чтобы сберечь в тайне свое неумение читать и писать, и которую это неумение забирает у самой жизни. Неграмотность — это духовное несовершеннолетие. Найдя в себе мужество научиться читать и писать, Ханна сделала шаг от несовершеннолетия к совершеннолетию, просветительский шаг.

Я рассматривал почерк Ханны и видел, сколько силы и борьбы стоило ей написание этих строк. Я гордился ею. Одновременно мне было печально за нее, печально за ее поздно начавшуюся, неудачную жизнь, печально за опоздания и неудачи жизни вообще. Я думал о том, что если время упущено, если кто-то слишком долго от чего-то отказывался, если кому-то слишком долго в чем-то отказывали, то это что-то приходит уже слишком поздно, даже тогда, когда в итоге налегаешь на него со всей силой и встречаешь со всей радостью. Или понятия «слишком поздно» не существует, а существует только «поздно», и не лучше ли во всяком случае «поздно», чем «никогда»? Не знаю.

За первым посланием стали приходить следующие в непрерывной последовательности. Это всегда были короткие строки, выражение благодарности, желания получить еще что-нибудь из творчества того или иного автора, или ничего не слышать больше о нем, замечание о каком-нибудь авторе, стихотворении, рассказе или персонаже из того или иного романа, наблюдение из тюремной жизни. «Во дворе уже цветут розы», или: «Мне нравится, что этим летом так много гроз», или: «В окно я вижу, как птицы собираются в стаи, чтобы лететь на юг» — нередко только сообщения Ханны побуждали меня обратить внимание на розы, летнюю грозу или стаи птиц. Ее замечания относительно литературы зачастую были на удивление меткими. «Шницлер лает, Стефан Цвейг — дохлая собака», или: «Келлеру нужна женщина», или: «Стихи Гете как маленькие картинки в красивых рамках», или: «Ленц наверняка пишет на пишущей машинке». Поскольку она ничего не знала об авторах, она предполагала, что они были ее современниками, если, конечно, это не исключалось какими-нибудь слишком явными признаками. Я

был поражен, как много старых произведений в самом деле читается так, словно они были написаны совсем недавно, и тот, кто не знаком с историей, в первую очередь может принять жизненный уклад былых времен за жизненный уклад каких-нибудь дальних стран.

Я Ханне никогда не писал. Но я продолжал читать ей на кассеты дальше и дальше. Когда я уехал на год в Америку, я присылал ей кассеты и оттуда. Когда я был в отпуске или когда у меня было особенно много работы, чтение на очередную кассету могло затянуться; я не устанавливал твердого ритма записи, а отсылал кассеты или каждую неделю, или каждые две недели, или только через три-четыре недели. То, что Ханне, после того, как она сама научилась читать, мои кассеты могли стать ни к чему, меня не волновало. Пусть она себе читает, думал я. Чтение вслух было моим способом обращения к ней, разговора с ней.

Я сохранил все ее послания. Ее почерк меняется. Сначала она заставила буквы склониться в одном направлении и придала им нужную высоту и ширину. После того как ей это удалось, она стала писать свободнее и увереннее. Беглости она никогда не достигла. Но она приобрела что-то от строгой красоты, свойственной почерку пожилых людей, которые в своей жизни писали мало.

Тогда я не задавался мыслью о том, что Ханна в один прекрасный день выйдет на свободу. Обмен приветствиями и кассетами сделался таким естественным и привычным, а Ханна таким ненавязчивым образом была для меня близкой и в то же время далекой, что я мог бы бесконечно долго довольствоваться существующим положением вещей. Это было удобно и эгоистично, я знаю.

Потом пришло письмо начальницы тюрьмы:

«Уже не один год фрау Шмитц ведет с Вами переписку. Это единственный контакт, который фрау Шмитц поддерживает с внешним миром, и поэтому я обращаюсь к Вам в этом письме, хотя я не знаю, насколько Вы близки с ней и в каких отношениях с ней состоите: в родственных или дружеских.

В следующем году фрау Шмитц снова будет подавать ходатайство о помиловании, и у меня есть все основания предполагать, что комиссия, занимающаяся рассмотрением ходатайств о досрочном освобождении, удовлетворит его. Тогда фрау Шмитц вскоре выйдет на свободу — после восемнадцати лет тюремного заключения. Разумеется, мы можем найти ей квартиру и работу или, по крайней мере, постараемся найти; с работой в ее возрасте будут проблемы, даже если она еще абсолютно здорова и проявляет в нашем швейном цеху хорошие способности. Но, я думаю, будет лучше, если вместо нас это сделают ее родственники или друзья, если они будут находиться рядом с освободившейся, сопровождать и поддерживать ее. Вы не можете представить себе, каким одиноким и беспомощным может оказаться человек на свободе, после того как он провел восемнадцать лет в тюрьме.

Фрау Шмитц привыкла к самостоятельной жизни и сама в состоянии справиться с трудностями первой поры. Поэтому было бы достаточно, если бы Вы подыскали ей небольшую квартиру и помогли с работой, периодически проводывали ее и приглашали в первые недели и месяцы к себе, а также могли позаботиться о том, чтобы она получала информацию о культурно-просветительных мероприятиях, предлагаемых церковной общиной, вечерней народной школой, центром повышения семейного образования и т. д. К тому же, Вы понимаете, как непривычно бывает впервые за восемнадцать лет выходить в город, делать покупки, посещать различные учреждения, обедать в ресторане. В сопровождении все это делать легче.

Я заметила, что Вы не навещаете фрау Шмитц. Если бы Вы делали это, то я бы не обращалась к Вам в письме, а пригласила бы Вас к себе на разговор во время одного из Ваших визитов. Однако предстоящее событие дает мне надежду, что теперь Вы обязательно навестите фрау Шмитц перед ее освобождением. Пожалуйста, загляните по этому случаю ко мне.»

Письмо заканчивалось сердечным приветом, который я отнес не в свой адрес, а объяснил тем обстоятельством, что начальница тюрьмы говорила здесь от чистого сердца. Я уже слышал о ней; ее тюрьма считалась образцовой, и ее голос имел вес в вопросах тюремной реформы. Письмо мне понравилось.

Но мне не нравилось то, что меня ожидало. Конечно, мне надо было позаботиться о жилье и работе для Ханны, что я в итоге и сделал. Мои друзья, которые не пользовались в своем доме квартирой для гостей и не сдавали ее, согласны были предоставить ее за небольшую плату Ханне. Грек-портной, которому я от случая к случаю отдавал свою одежду в переделку, готов был устроить Ханну к себе; его сестра, работавшая вместе с ним в мастерской, уехала обратно в Грецию. Я также задолго до того, как Ханна могла воспользоваться этим, осведомился о культурных и образовательных мероприятиях, предлагаемых церковными и государственными учреждениями. Однако свой визит к Ханне я все оттягивал.

Именно потому, что она таким удобным образом была мне как близкой, так и



далекой, я не хотел навещать ее. Мне казалось, что только на действительном удалении она могла оставаться для меня такой, какой была. Я боялся, что маленький, легкий, укрытый мир письменных приветствий и кассет окажется чересчур искусственным и хрупким для того, чтобы выдержать подлинную близость. Была ли наша встреча лицом к лицу возможна без того, чтобы на поверхность не поднялось все то, что когда-то было между нами?

Закончился еще один год, а я так и не побывал в тюрьме. От начальницы тюрьмы я долгое время ничего не слышал; мое письмо, в котором я сообщал о ситуации с жильем и работой, ожидавшей Ханну, осталось без ответа. Наверное, она рассчитывала переговорить со мной во время моего визита. Она не могла знать, что я не только откладывал этот визит, но и всячески уклонялся от него. Но вот решение о помиловании и досрочном освобождении Ханны было принято, и начальница позвонила мне. Не могу ли я приехать, спросила она. Через неделю Ханна выходит на свободу.

В следующее воскресенье я был у нее. Это был мой первый визит в тюремное заведение. На входе у меня проверили документы, и по пути моего дальнейшего следования передо мной открыли и за мной закрыли несколько дверей. Но само здание тюрьмы было новым и светлым, двери внутри него были открыты и женщины передвигались везде свободно. В конце коридора одна из дверей вела во двор — оживленный зеленый островок с деревьями и скамейками. Я стал оглядываться в поисках Ханны. Надзирательница, которая привела меня, указала на ближнюю скамейку в тени каштана.

Ханна? Женщина на скамейке была Ханной? Седые волосы, лицо с глубокими вертикальными морщинами на лбу, на щеках, вокруг рта и отяжелевшее тело. На ней было слишком узкое, плотно облегающее грудь, живот и бедра голубое платье. Ее руки лежали на коленях и держали книгу. Она не читала ее. Поверх маленьких очков для чтения она наблюдала за женщиной, бросавшей стайке воробьев хлебные крошки. Потом она заметила, что на нее смотрят, и повернулась ко мне.

Я увидел в ее лице ожидание, увидел, как оно осветилось радостью, когда она узнала меня, увидел, как ее глаза ощупывали мое лицо, пока я приближался к ней, увидел, как ее глаза искали, спрашивали, неуверенно и уязвленно смотрели на меня, и увидел, как ее лицо померкло. Когда я подошел к ней, она улыбнулась мне приветливой, усталой улыбкой.

— Ты вырос, парнишка.

Я сел рядом с ней на скамейку, и она взяла мою руку.

Раньше я особенно любил ее запах. От нее всегда исходил запах свежести: свежесмытого тела, свежего белья, свежего пота или свежей любовной близости. Иногда она пользовалась духами, я не знаю точно, какими, и их аромат по свежести тоже превосходил все остальное. Под этими свежими запахами скрывался еще другой, какой-то плотный, темный, терпкий запах. Часто я обнюхивал ее, как любопытный зверек, начинал с шеи и плеч, пахнувших чистотой и мытьем, втягивал в себя между ее грудей свежий запах пота, который перемещивался под мышками с другим запахом, находил потом этот плотный, темный запах вокруг живота и талии почти в чистом виде, а между ногами — с фруктовым, возбуждающим меня оттенком, обнюхивал также ее ноги и ступни, бедра, у которых плотный запах терялся, подколенные ямки, еще раз с легким запахом свежего пота, и ступни с запахом мыла, кожи или усталости. У спины и у рук не было какого-либо особенного запаха, они не пахли ничем и все же пахли Ханной, и на ее ладонях держался аромат прошедшего дня и работы: типографская краска трамвайных билетов, металл компостера, лук, рыба или топленое масло, щелок для стирки или жар от глаженья. Если руки помыть, то сначала они не выдают ничего из этих запахов. Но мыло только на время перекрывает их, и вскоре они опять проступают на поверхность, слабые, слившиеся воедино в общем аромате дня и работы, в аромате окончания дня и работы, в аромате вечера, возвращения домой и домашнего отдыха.

Сейчас я сидел рядом с Ханной и чувствовал запах старой женщины. Я не знаю, из чего состоит этот запах, который знаком мне по бабушкам и дамам преклонного возраста и который, точно проклятие, заполняет комнаты и коридоры домов престарелых. Ханна была слишком молодой для этого запаха.

Я подвинулся к ней ближе. Я заметил, что до этого разочаровал ее, и хотел теперь как-то исправить это.

— Я рад, что ты выходишь на свободу.

— Да?

— Да, и я рад, что ты будешь жить неподалеку от меня.

Я рассказал ей о квартире и работе, которые нашел для нее, о культурных и образовательных мероприятиях в районе, о городской библиотеке.

— Ты много читаешь?

— Так себе. Лучше, когда тебе читают вслух.

Она поглядела на меня.

— Теперь этого больше не будет, да?

— Почему не будет?

Однако я как-то не представлял себя больше записывающим ей кассеты, встречающимся с ней и читающим ей вслух.

— Меня так обрадовало, что ты научилась читать. И я очень гордился тобой. А какие письма ты мне писала!

Это была правда; я гордился Ханной и радовался тому, что она могла читать и тому, что она писала мне. Но я чувствовал, какими слабыми были моя гордость и моя радость по сравнению с тем, чего должно было стоить Ханне ее обучение чтению и письму, какими скудными были они, если они даже не могли заставить меня ответить ей, навестить ее, поговорить с ней. Я отвел Ханне в своей жизни маленькую нишу, да, именно нишу, которая, без сомнения, была дорога мне, которая мне что-то давала и для которой я что-то делал, но это была всего лишь ниша, а не полноценное место.

Но почему я должен был отводить ей место в своей жизни? Я не хотел мириться с плохой совестью, мучавшей меня при мысли, что я сократил место Ханны до размеров ниши.

— Скажи, а до суда ты когда-нибудь думала о том, о чем потом на нем говорили? Я имею в виду, ты когда-нибудь думала о всем этом, когда мы были вместе, когда я, например, читал тебе?

— Тебя это так волнует?

Но она не стала ждать, пока я отвечу.

— У меня всегда было чувство, что меня все равно никто не понимает, что никто не знает, кто я такая и что меня сюда привело и побудило на тот или иной поступок. И, знаешь, если тебя никто не понимает, то никто не может требовать от тебя отчета. Суд тоже не мог требовать от меня отчета. Но мертвые, они могут. Они понимают. Для этого им совсем не надо было быть свидетелями моих дел, но если они ими и были, то они понимают особенно хорошо. Здесь, в тюрьме, они часто приходили ко мне. Они приходили ко мне каждую ночь, хотела я этого или нет. До суда я еще могла прогнать их, если они хотели прийти.

Она подождала, не скажу ли я что-нибудь на это, но мне ничего не шло на ум. Сначала я хотел сказать, что мне в моей жизни ничего не удастся прогнать. Но это было не так; можно прогнать кого-нибудь и тогда, когда ставишь его в нишу.

— Ты женат?

— Был. Мы с Гертрудой давно развелись, и наша дочь живет в интернате; я надеюсь, что она не останется доучиваться там последние годы, а переедет ко мне.

Сейчас я подождал, не скажет ли здесь что-нибудь Ханна или не спросит ли она меня о чем-нибудь. Но она молчала.

— Я приеду за тобой на следующей неделе, хорошо?

— Хорошо.

— Тихо, или можно с музыкой?

— Тихо.

— Что ж, значит, заберу тебя тихо, без музыки и шампанского.

Я встал, и она тоже встала. Мы посмотрели друг на друга. Только что два раза прозвенел звонок, и другие женщины уже ушли внутрь здания. Ее глаза снова ощупали мое лицо. Я обнял ее, но на ощупь она была не той.

— Всего хорошего, парнишка.

— Тебе тоже.

Так мы попрощались друг с другом еще до того, как расстались внутри тюрьмы.

Следующая неделя была у меня особенно занятой. Я не помню больше, подгонял ли меня по времени доклад, который я готовил, или я сам подстегивал себя своим усердием и рабочим азартом.

Мои представления, с которыми я начал работу над докладом, никуда не годились. Когда я стал проверять их, я наталкивался там, где ожидал увидеть смысл и закономерность, на одну случайность за другой. Вместо того, чтобы смириться с этим, я искал дальше, возбужденно, ожесточенно, боязливо, как будто с моим представлением о действительности сама действительность пошла вдруг по ложному пути, и я готов был переиначить факты, раздуть или урезать их. Я пришел в состояние странного беспокойства, хотя и засыпал, когда ложился поздно, однако через несколько часов сразу просыпался, чтобы снова встать и продолжить читать или писать.

Я занимался также делами, связанными с предстоящим выходом Ханны из тюрьмы. Я обставил ее квартиру, простой мебелью из светлого дерева и несколькими старыми предметами, предупредил еще раз грека-портного и обновил информацию о культурно-просветительных мероприятиях в районе. Я накупил продуктов, заполнил полку книгами и развесил на стенах картины. Я пригласил садовника, который привел в порядок небольшой садик, окружавший террасу перед жилой комнатой. Все это я делал тоже в странном возбуждении и ожесточении; слишком много всего на меня навалилось.

Но этого было как раз достаточно, чтобы не думать о новой встрече с Ханной. Лишь иногда, когда я ехал на машине или сидел усталый за письменным столом или лежал без сна в кровати или находился в квартире, подготовленной для Ханны, мысль о встрече с ней пересиливала все и давала волю воспоминаниям. Я видел ее на скамейке с глазами, направленными на меня, видел ее в бассейне, с лицом, обращенным ко мне, и мною вновь овладевало чувство, что я предал ее и заразился от нее виной. И снова я восставал против этого чувства и обвинял ее и находил дешевым и простым то, как она избавилась от своей вины. Отдавать себя только на суд мертвых, ограничивать вину и ее искупление плохим сном и кошмарами — где же тогда, спрашивается, были живые? Но то, что я имел в виду, были не живые, а я сам. Не должен ли был и я тоже потребовать от нее ответа? Где же был для нее я?

Накануне того дня, как забрать ее, я позвонил в тюрьму. Сначала я поговорил с начальницей.

— Я немного волнуюсь, — сказала она мне. — Знаете, до того как выйти на свободу после столь длительного пребывания в тюрьме, заключенные, как правило, уже проводят по несколько часов или дней за ее пределами. Фрау Шмитц не хотела воспользоваться этой возможностью. Завтра ей будет нелегко.

Меня соединили с Ханной.

— Подумай, что нам завтра предпринять. Ты сразу хочешь к себе домой или, может, нам выехать в лес или к реке?

— Я подумаю. Ты по-прежнему любишь все планировать, как я погляжу.

Это меня рассердило. Рассердило, как это бывало, когда мои подруги говорили мне, что я не достаточно спонтанен, что я слишком сильно напрягаю свою голову вместо того, чтобы отдаться на волю чувств.

Она уловила в моем молчании недовольство и рассмеялась.

— Не сердись, парнишка. Я не хотела тебя обидеть.

Я уже сказал, что на скамейке во дворе тюрьмы я увидел в Ханне старую женщину. Она выглядела старой и пахла старостью. Я совсем не обратил внимания на ее

голос. Ее голос остался таким же молодым, как и был когда-то.

Следующим утром Ханна не стало. На рассвете она повесилась.

Когда я приехал, меня проводили к начальнице тюрьмы. Впервые я увидел ее, невысокую, худую женщину с темно-русыми волосами и в очках. Она производила невзрачное впечатление, пока не начала говорить, с силой, теплотой, строгим взглядом и энергичным движением рук. Она спросила меня о нашем телефонном разговоре с Ханной минувшим днем и о нашей встрече неделю назад. Предчувствовал ли я что-нибудь, опасался ли я чего-нибудь? Я ответил отрицательно. У меня также не было никакого предчувствия или опасения, которые бы я как-то вытеснил.

— Скажите, откуда вы знали друг друга?

— Мы жили по соседству.

Она изучающе посмотрела на меня, и я понял, что здесь мне следует сказать больше.

— Мы жили по соседству, познакомились друг с другом и подружились. Студентом я потом был на процессе, на котором ей вынесли приговор.

— Почему вы присылали фрау Шмитц кассеты?

Я молчал.

— Вы знали, что она была неграмотной, не так ли? Откуда вы это знали?

Я пожал плечами. Я не понимал, какое ей было дело до моей истории с Ханной. У меня в груди и в горле стояли слезы и я боялся, что не смогу говорить. Я не хотел плакать перед ней.

Видимо, она заметила, каково было у меня на душе.

— Идемте, я покажу вам камеру фрау Шмитц.

Она шла впереди, но то и дело оборачивалась, чтобы что-то сказать или пояснить мне. Вот здесь когда-то произошло столкновение с террористами, вот здесь находится швейный цех, в котором работала Ханна, вот здесь Ханна один раз устроила сидячую забастовку, пока не было изменено положение о ликвидации средств на поддержание библиотеки, вон там находится сама библиотека. Перед дверью камеры она остановилась.

— Фрау Шмитц не собрала своих вещей. Там внутри сейчас все в таком виде, в каком было при ее жизни.

Кровать, шкаф, стол и стул, на стене над столом полка и в углу за дверью умывальник и унитаз. Вместо окна дымчатые стеклянные блоки. На столе ничего не было. На полке стояли книги, будильник, плюшевый мишка, две кружки, растворимый кофе, чайные банки, кассетный магнитофон и в двух низких отделениях — записанные мной кассеты.

— Здесь не все, — проследила за моим взглядом начальница тюрьмы, — фрау Шмитц всегда отдавала несколько кассет в службу помощи слепым заключенным.

Я подошел к полке. Прямо Леви, Эли Визель, Тадеуш Боровский, Жан Амери — литература жертв нацизма наряду с автобиографическими мемуарами Рудольфа Хесса, книга Ханна Арентс об Эйхмане в Иерусалиме и научная литература о концентрационных лагерях.

— Ханна все это читала?

— Во всяком случае, она специально заказала эти книги. Мне уже несколько лет назад пришлось разыскать для нее общую библиографию по теме концлагерей, и потом, год или два тому назад, она попросила меня назвать ей книги о женщинах в концлагерях, узницах и надзирательницах. Я написала письмо в Институт новой истории и мне прислали оттуда специальную библиографию. После того как фрау Шмитц научилась читать, она сразу начала читать о концлагерях.

Над кроватью висело много маленьких картинок-вырезок и листков с записями. Я стал коленями на кровать и принялся читать. Это были цитаты, стихи, коротенькие пометки, также кулинарные рецепты, которые Ханна выписывала или, как и картинки, вырезала из газет и журналов. «Зеленым дыханьем подула весна», «Тени пышных облаков проплывают над полями» — все стихи были полны любви к природе и тоски по ней, и с вырезок на меня смотрели светло-весенний лес, пестрые от цветов луга, осенняя листва и отдельные деревья, ива у ручья, вишня со спелыми красными плодами на ней, по-осеннему полыхающий желто-оранжевым цветом каштан. На одной газетной фотографии моему взору предстали пожилой и молодой мужчина в темных костюмах, пожимающие друг другу руки, и в молодом, который склонился перед пожилым в поклоне, я узнал себя. Я был выпускником гимназии и директор вручал мне на выпускной церемонии грамоту. Это было много лет после того, как Ханна уехала из города. Неужели она, не умевшая читать, выписывала в то время местную газету, в которой появилась эта фотография? Как бы там ни было, ей наверняка пришлось приложить некоторые усилия для того, чтобы разузнать об этой фотографии и заполучить ее. Может, этот снимок был у нее, был с ней и во время процесса? Я снова почувствовал слезы в груди и горле.

— Она научилась читать вместе с вами. Она брала в библиотеке книги, которые вы читали ей на кассеты, и слово за словом, предложение за предложением следила по ним за тем, что она слышала. Постоянное щелканье по кнопкам паузы и пуска, перемотки вперед и назад, конечно, не могло не отразиться на магнитофоне; он то и дело ломался, и его то и дело приходилось чинить. И поскольку на это нужны были разрешения, я, в конце концов, узнала, чем занимается фрау Шмитц. Сначала она не хотела в открытую говорить об этом, но когда она начала также писать и попросила меня достать ей книгу с рукописным шрифтом, она уже больше не пыталась скрывать свою тайну. К тому же она просто гордилась тем, чего ей удалось достичь, и хотела поделиться с кем-нибудь своей радостью.

В то время как она говорила, я, стоя на коленях, продолжал обводить взглядом вырезки и листки на стене и боролся со слезами. Когда я повернулся и сел на край кровати, она сказала:

— Фрау Шмитц так надеялась, что вы напишете ей что-нибудь. Она получала почту только от вас, и когда почту раздавали и она спрашивала: «А письма для меня нет?», то она подразумевала под этим не бандероль, в которой пришли кассеты. Почему вы ей никогда не писали?

Я снова промолчал. У меня бы не получилось говорить, у меня бы получилось только пролепетать что-нибудь и разразиться рыданиями.

Она подошла к полке, сняла с нее одну банку из-под чая, села рядом со мной и извлекла из кармана костюма сложенный вдвое лист бумаги.

— Она оставила мне письмо, своего рода завещание. Я зачитаю вам то, что касается вас.

Она развернула лист:

«В сиреневой банке из-под чая лежат деньги. Отдайте их Михаелю Бергу. Пусть он отдаст их вместе с семью тысячами марок с моего счета в сберкассе той женщине-дочери, которая выжила со своей матерью после пожара в церкви. Она сама должна решить, как поступить с ними. И передайте ему от меня привет.»



Значит, для меня лично она не оставила ни строчки. Она что, хотела меня как-то задеть? Наказать? Или ее душа так устала, что она была в состоянии делать и писать только самое необходимое?

— Какой она была все эти годы?... — я переждал, пока снова мог говорить. — И какой она была в последние дни?

— Много лет она жила здесь, как в монастыре. Так, будто она добровольно пришла сюда, чтобы уединиться, будто она добровольно подчинилась здешнему порядку, будто более или менее монотонная работа была для нее своеобразной медитацией. У других женщин, с которыми она была приветлива, но не сближалась, она пользовалась особым уважением, более того — авторитетом. У нее спрашивали совета при возникновении каких-либо проблем, и если она разрешала какой-нибудь спор, то ее решение было окончательным. Пока несколько лет тому назад она не махнула на себя рукой. Она всегда следила за собой, несмотря на свое крепкое телосложение была довольно стройной и содержала себя в образцовой, прямо-таки педантичной чистоте. Теперь же она начала много есть, редко мылась, располнела и от нее стало неприятно пахнуть. При этом она не создавала впечатление несчастной или недовольной. Мне кажется, это было так, как будто ухода в монастырь для нее было больше недостаточно, как будто в самом монастыре было еще слишком много суеты и болтовни и поэтому ей пришлось затвориться еще дальше, в уединенную келью, в которой тебя больше никто не видит и где внешний вид, одежда и запах не играют больше никакой роли. Нет, то, что она махнула на себя рукой, это я неправильно выразилась. Она по-новому определила для себя свое место — способом, который был верным для нее, однако не производил больше впечатления на других женщин.

— А последние дни?

— Она была такой, как всегда.

— Я могу взглянуть на нее?

Начальница кивнула, но осталась сидеть.

— Неужели за годы одиночества мир может стать человеку таким невыносимым? Неужели лучше покончить с собой, чем снова вернуться из монастыря, из уединения в этот мир?

Она повернулась ко мне.

— Фрау Шмитц не написала, почему она покончила с собой. И вы не говорите, что было между вами и, возможно, привело к тому, что фрау Шмитц совершила самоубийство в ночь перед тем, как вы хотели забрать ее отсюда.

Она сложила лист, спрятала его обратно в карман, встала и пригладила юбку.

— Ее смерть для меня удар, знаете ли... И сейчас я очень зла, на фрау Шмитц и на вас. Ну, да что там, идемте.

Она снова пошла впереди, на этот раз молча. Ханна лежала в больничном блоке в маленькой комнатке. Нам едва хватило места встать между стеной и каталкой. Начальница откинула простыню.

Вокруг головы Ханны был повязано полотенце, чтобы поддержать подбородок в приподнятом положении до наступления трупного окоченения. В ее лице не было ни особого умиротворения, ни особой муки. Оно выглядело застывшим и мертвым. По мере того как я продолжал смотреть на него, в его мертвых чертах мне мерещились живые, в старых — молодые. Так, наверное, бывает со старыми супружескими парами, думал я; для нее в старике всегда сохраняется его юношеский облик, а для него в старухе — красота и грация молодой девушки. Почему я не видел этого эффекта неделю назад?

От слез я удержался. Когда начальница через какое-то время вопросительно посмотрела на меня, я кивнул, и она снова расправила простыню над лицом Ханны.

Только осенью я смог выполнить поручение Ханны. Дочь жила в Нью-Йорке, и я воспользовался конференцией в Бостоне, чтобы передать ей деньги: чек на сумму, имевшуюся на сберкнижке, и банку из-под чая с наличными деньгами. Я написал этой женщине, представился как историк-правовед и рассказал немного о процессе. Я сказал, что был бы очень благодарен ей, если бы она позволила мне встретиться с ней. Она пригласила меня к себе на чай.

Я ехал из Бостона в Нью-Йорк на поезде. Леса блистали своей коричневой, желтой, оранжевой, красно-коричневой и коричнево-красной раскраской и ярким, пылающе-красным цветом клена. Мне вспомнились вырезки с осенними пейзажами в камере Ханны. Когда от стука колес и раскачивания вагона я задремал, я увидел Ханну и себя в доме посреди пестрых от осени холмов, через которые ехал поезд. Ханна в моем сне была старше, чем в то время, когда я познакомился с ней, и моложе, чем тогда, когда я снова увидел ее, старше меня, красивее, чем раньше, ставшая с возрастом еще более спокойной в своих движениях и еще более уверенно чувствующая себя в своем теле. Я видел, как она вышла из машины и взяла в руки пакеты с покупками, видел, как она двинулась через сад к дому, видел, как она поставила пакеты и стала подниматься впереди меня по лестнице. Тоска по Ханне охватила меня с такой силой, что мне сделалось больно. Я отбивался от этой тоски, возражал ей, что она совершенно неправильно передает нашу реальность, реальность нашего возраста, нашей жизни. Как это Ханна, которая не говорила по-английски, могла вдруг жить в Америке? И машину водить она тоже не умела.

Я очнулся от дремы и снова вспомнил, что Ханна была мертва. Я также осознал, что тоска привычно возвращала меня к Ханне, не касаясь ее конкретно. Это была тоска по дому.

Дочь жила в Нью-Йорке на маленькой улочке неподалеку от Центрального парка. По обе ее стороны стояли старые дома рядовой застройки из темного песчаника с лестницами из того же темного песчаника, ведущими на первый этаж. Это являло собой строгую картину: дом за домом, фасады почти один в один, лестница за лестницей, деревья, совсем недавно посаженные через равномерные интервалы, с редкими желтыми листьями на тонких ветвях.

Дочь подавала чай перед большими окнами с видом на маленькие садики внутри прямоугольника домов — то зеленые и пестрые, то заваленные одной рухлядью. Как только мы сели, чай был разлит, сахар в него добавлен и размешан, дочь перешла с английского, на котором она поздоровалась со мной, на немецкий.

— Что вас привело ко мне?

Прозвучало это не то, чтобы приветливо, и не то, чтобы не приветливо; в ее голосе была слышна крайняя деловитость. Все в ней создавало деловое впечатление: осанка, жестикация, одежда. Ее лицо было до странного безвозрастным. Так выглядят лица, перенесшие пластическую операцию. Но, может быть, оно просто застыло от раннего горя — мне никак не удавалось вспомнить ее лицо во время процесса.

Я рассказал о смерти Ханны и о ее поручении.

— Почему я?

— Думаю, потому, что вы единственная, оставшаяся в живых.

— И что же мне делать с этими деньгами?

— Все, что вы сочтете нужным.

— И тем самым отпустить фрау Шмитц ее грехи?

Сначала я хотел возразить, но Ханна в самом деле требовала слишком многого. Годы тюрьмы должны были быть не только искуплением ее вины; Ханна сама хотела вложить в них смысл, и она рассчитывала получить этим признание. Я сказал это.

Дочь покачала головой. Я не понял, хотела ли она этим отвергнуть мое предположение или отказать Ханне в признании.

— А вы не можете дать ей признания без отпущения грехов?

Она засмеялась.

— Вы хорошо к ней относитесь, не правда ли? Что вас, собственно, связывало?

Я чуть помедлил.

— Я был ее чтецом. Я начал читать ей, когда мне было пятнадцать, и продолжил потом, когда она сидела в тюрьме.

— Как это вам...

— Я посылал ей кассеты. Фрау Шмитц почти всю свою жизнь была неграмотной; она только в тюрьме научилась читать и писать.

— Почему вы все это для нее делали?

— Я в пятнадцать лет имел с ней любовную связь.

— Вы имеете в виду, вы спали с ней?

— Да.

— Какой жестокой была эта женщина! Вам удалось избавиться от того, что она, когда вам было пятнадцать... Впрочем, нет, вы сами сказали, что снова начали читать ей, когда она была в тюрьме. Вы были когда-нибудь женаты?

Я кивнул.

— И ваш брак был коротким и неудачным, и потом вы больше не женились, и ребенка, если он у вас есть, вы отдали в интернат.

— Это можно сказать и о тысячах других людей; для этого не нужно иметь связь с фрау Шмитц.

— Скажите, у вас, когда вы в последние годы имели с ней контакт, не было такого чувства, что она знает, что она сделала с вами?

Я пожал плечами.

— Во всяком случае она знала, что она сделала с другими в лагере и во время марша. Она не только сказала мне об этом, она также интенсивно занималась этим вопросом в последние годы в тюрьме.

Я рассказал ей о том, что услышал от начальницы тюрьмы.

Дочь встала и принялась большими шагами расхаживать по комнате.

— О какой сумме денег идет речь?

Я вышел в прихожую, где оставил свою сумку, и вернулся с чеком и банкой из-под чая.

— Вот.

Она посмотрела на чек и положила его на стол. Банку она открыла, опустошила ее,

снова закрыла и, держа в руке, внимательно ее разглядывала.

— В детстве у меня тоже была банка из-под чая для моих сокровищ. Не такая, как эта, хотя и такие тогда уже тоже были, а с буквами кириллицей, и крышка у нее не вдавливалась внутрь, как здесь, а насаживалась сверху. Я донесла ее с собой до концлагеря, там ее у меня украли.

— Что же в ней было?

— Что там могло быть... Завиток шерсти с нашего пуделя, билеты на оперы, на которые меня брал мой отец, кольцо, выигранное или найденное мной где-то. Украли у меня банку не из-за ее содержимого — сама банка и то, что с ней можно было сделать, это имело в лагере большую ценность.

Она поставила банку на чек.

— А у вас есть какие-нибудь предложения насчет использования денег? Пустить их на что-нибудь, что как-то связано с уничтожением евреев, в самом деле было бы похоже для меня на отпущение грехов, которое я не могу и не хочу давать.

— Деньги можно было бы отдать, например, на нужды неграмотных, которые хотят научиться читать и писать. Наверняка тут есть какие-нибудь общественные фонды, союзы, общества.

— Конечно, они есть.

Она раздумывала.

— А нет ли аналогичных еврейских организаций?

— Можете быть уверены, что если в мире есть какие-либо организации, то такие же организации есть и для евреев. Неграмотность, правда, не совсем еврейская проблема.

Она подвинула мне чек и деньги.

— Давайте сделаем так. Вы разузнаете, какие еврейские организации, работающие в этой области, имеются здесь или в Германии и переведете деньги на счет той, которая вас больше всего убедит. Вы можете также, — она засмеялась, — перевести деньги от имени Ханны Шмитц, если признание играет тут такую важную роль.

Она снова взяла банку.

— А банку я оставляю себе.

Со времени описанных мною событий прошло уже десять лет. В первые годы после смерти Ханны меня мучали старые вопросы, отрекся ли я от нее и предал ли я ее, остался ли я ей что-нибудь должен, сделался ли я виноватым, любя ее, нужно ли было мне отказаться, оторваться от нее и, если да, то как. Порой я задавался вопросом, есть ли моя вина в том, что она покончила с собой. И порой я был зол на нее и на то, что она со мной сделала. Пока злость не лишилась своей силы, а вопросы — своей важности. То, что я сделал и не сделал и то, что она сделала со мной — это, как не верти, стало моей жизнью.

Решение рассказать нашу с Ханной историю я принял вскоре после ее смерти. С тех пор наша история прокручивалась в моей голове множество раз, всякий раз немного по-другому, всегда с новыми картинками, отрывками действия и поворотами мыслей. Таким образом, наряду с версией, написанной мною, имеется и множество других. Гарантией того, что написанная версия правильна, является то, что я написал ее, а другие версии — нет. Написанная версия хотела быть написанной, множество других этого не хотело.

Сначала я хотел рассказать нашу историю, чтобы отделаться от нее. Однако для этой цели воспоминания отказывались идти ко мне. Потом я заметил, как наша история стала ускользать от меня, и захотел вернуть ее изложением на бумагу, но и это тоже не выманило воспоминания из-под их укрытия. Вот уже несколько лет, как я оставил нашу историю в покое. Я заключил с ней мир. И она вернулась ко мне, деталь за деталью, такой четкой, полной и законченной, что она больше не наводит на меня грусти. Долгое время я думал: какая печальная история. Не то, чтобы у меня сейчас появилась мысль, что эта история счастливая. Просто я думаю, что она точна, и что на фоне этого вопрос, печальная она или счастливая, не имеет никакого значения.

Во всяком случае, я думаю так, когда спокойно размышляю о ней. Когда же меня что-то больно задевает, то на поверхность проступают раны той поры, когда я чувствую себя виноватым, то дают себя знать мои тогдашние ощущения вины, и в сегодняшней тоске по чему-либо я чувствую тоску того времени. Слои нашей жизни так тесно покоятся друг на друге, что на более поздних этапах нам всегда встречается то, что уже было раньше, не как что-то изжившее себя и негодное, но как что-то современное и живое. Я это понимаю. И все равно я порой нахожу это труднопереносимым. Быть может, нашу историю я изложил все же потому, что хочу избавиться от нее, даже если и не могу этого сделать.

Деньги Ханны я сразу по возвращении из Нью-Йорка перевел от ее имени на счет Jewish League Against Illiteracy. В ответ я получил короткое письмо стандартной компьютерной формы, в котором Jewish League благодарила мисс Ханну Шмитц за ее пожертвование. С письмом в кармане я поехал на кладбище, на могилу к Ханне. Это был первый и единственный раз, что я стоял на ее могиле.

## **Примечания**

# 1

«Эмилия Галотти» (1772) — трагедия Г.Э. Лессинга; «Коварство и любовь» (1784) — драма Ф. Шиллера.





Еврейская лига по борьбе с неграмотностью (*англ.*).